

ПЕТР АЛЕКСЕЕВ



Л. Островер

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Книга о Петре Алексееве представляет собой биографическую повесть. Используя канву биографии рабочего-революционера, писатель сообщил ей большую рельефность с помощью многих живописных подробностей. Добиваясь художественной выразительности, автор имеет право на домысел такого рода, не искажающий исторической правды. В книге Островера этот домысел в основном относится к второстепенным частностям.

- [ПЕТР АЛЕКСЕЕВ](#)
 -
 - [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА](#)
 - [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
 - [ОБ АВТОРЕ](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
-

ПЕТР АЛЕКСЕЕВ

Островер Леон Исаакович

1

На краю деревни Новинской, там, где ухабистая дорога поворачивала к взгорью, стояла ветхая изба — черная, с прикипевшим к стенам серо-зеленым мхом, с развалившимся крыльцом. В тени, прислонившись спиной к доскам крыльца, сидел мальчонка; он мастерил игрушечную мельницу. Работа у него не спорилась: поработает несколько минут и ложится навзничь.

— Петруша! — послышался оклик из избы.

Мальчонка поднял голову. Странное у него лицо: красное, со свежими, еще влажными рябинками.

— Что, бабушка?

— Ступай в избу. Язвочки посушу.

— Не надо, бабушка. Тетя Ариша сказала, что я уже здоров.

...Запылала вечерняя заря. Воздух наливался мглой. Показались люди. Одни шли полем — мертвым, выжженным, другие — дорогой. Шли толпами: в сером мареве поблескивали косы, тускло маячили цветные платки. Люди шли понуро, точно с похорон, только собаки, залиvisto лая, метались от группы к группе и своей суматошливой возней оживляли унылое шествие.

К ветхой избе свернула семья Игната. Впереди сам Игнат — жилистый старик с коричневым лицом. Он шагал широко и топырил руки в стороны. За ним шеренгой, словно в строю, трое дюжих молодцов — бородатых, как и отец. Дальше — три молодницы в белых платках, низко надвинутых на лоб. Замыкали шествие трое мальчиков и верткая белая собачонка.

Вошел в избу дед Игнат. Он остановился посреди горницы, цепким глазом посмотрел вокруг, как бы проверяя, все ли на месте, потом обратился к старушке, скуластой, с добрыми глазами:

— Как, мать, готово у тебя?

— Садись, командёр, — добродушно проговорила старушка, ставя на стол чугуны.

Первым приступил дед. Бережно, под охраной куска хлеба, донес он ложку с похлебкой ко рту и кивнул головой. К чугуну потянулись ложки. Ели молча, соблюдали очередь — от старшего к младшему.

Чугун опустел. Игнат положил ложку на стол и, ни к кому не обращаясь, сказал:

— Значится, без ржицы будем.

Одна из молодежи хихикнула:

— Откуда ей быть?

Старик укоризненно взглянул на сноху и, как бы зачеркнув ее слова, повторил тем же сухим голосом:

— Значится, без ржицы будем.

— Не привыкать стать, — отозвалась старушка.

Она хотела оборвать разговор: все с ног валятся от усталости, а он, старичина, из-за стола не встает.

И на жену посмотрел Игнат укоризненно.

— Значится, говорю, без ржицы останемся, — повторил он в третий раз. — Значится, голодать будем.

— И у мальвинских все погорело, — тихо сказал старший сын Алексей, отец четырех парнишек.

— У мальвинских помещик имеется, — спокойно ответил старик. — Он своих холопов выручит, не даст им с голоду подыхать. Если мужики подохнут, ему убыток. А у нас нет помещика: мы государственные. Казенные. А казне что? Засуха не засуха — подати вноси. Подох мужик с голоду — казне невелик урон: у нее мужиков, что песку на Смоленщине. — Медленно поворачивая голову, он переводил глаза с одного на другого, до самого младшенького, до Никишки; вдруг улыбнулся и мягко закончил: — Ему как будто рано помирать.

— Нечего тебе каркать, командёр!

— Ты их кормить будешь?

— Бог прокормит.

— Только ему и делов, что о нас думать, — бойко промолвила та же сноха.

На этот раз старик даже не взглянул на нее.

— Бог-то бог, да и сам не будь плох. Надобно, значится, своим умом обходиться. — Он повернул голову к сыну Алексею. — В Москву бы тебе податься.

— Работал уж там, — нехотя ответил Алексей. — А что заработал?

— А ты со всем семейством уходи. Вон какая у тебя орава. Игнатке двенадцатый миновал. Рублей пять в месяц вытянет. Власу — десятый, рубля четыре заработает. Петруше девять, тоже рубля три добудет. Вот у тебя и капитал составится.

— Эх, командёр! — вздохнула старушка. — Откуда у Алексеюшки капитал составится? Кормиться-то ему с семейством в Москве-то надо будет? А хлебушек-то в Москве весовой да на копеечки продается. Посчитай, командёр, сколько этих копеечек надобно, чтобы семейство прокормить. — Она вытерла губы и закончила спокойным голосом: — Вот у нас еще полоска овса осталась. Авось бог дождика пошлет и овсы поправятся.

Алексей с благодарностью взглянул на мать; ему не хотелось в Москву: работа каторжная, а хлеба чуть!

Игнатка же, Влас и Петруша внутренне возмущались словами бабки: не понимает она, старая, что в Москве интереснее, чем в деревне, — там есть пушка с гору величиной, а в Кремле висят на железных цепях часы, которые денно, и ночью марши играют.

— Значится, дождика подождем, — сказал старик, вопросительно поглядывая на Алексея.

— Придется.

Игнат поднялся из-за стола; за ним, словно по команде, остальные.

По воскресеньям сходились старики на взгорье. Перед ними лежала серая, словно пеплом осыпанная, земля; темные межевые борозды, идущие вдоль и поперек, придавали ей сходство с огромными тюремными окнами с решетками. На горизонте чернела зубчатая стена гжатских лесов. На земле тихо. С полей веет палом и еще чем-то терпким, острым.

Дед Игнат был зачинщиком разговоров, и он же подводил последнюю черту. У Игната была своя «правда»: плохо было — плохо будет, и этой «правдой» он долгие годы убаюкивал и себя и своих односельчан. Но в последние месяцы сдвинулось что-то с векового корня, что-то яркое проглянуло из-за туч.

Вокруг Новинской лежали помещичьи обширные земли. Мужики пахали, жали, молотили; управители хлеб продавали; помещики денежки проматывали. Так шло от дедов, прадедов. И вдруг дрогнул вековой уклад.

«Не наступает ли конец рабству?» — спрашивал себя Игнат. По всему угадывалось, что дело именно к этому клонится. В лесу задолго до грозы чувствуется ее приближение: шумит листва, деревья вздрагивают, птицы слетаются с округи и без обычной веселой гоньбы спешат укрыться в гнездах, кукушка умолкает, и при ясном еще небе ложится на лес свинцовая тень.

Чувствует дед Игнат приближение «грозы». В Ясенках мужики скосили господский луг; у графа Толя извели племенного быка. А со старым князем Белосельским что сделали? Явились к нему всем миром, в ноги поклонились и попросили: «Уезжай, ваше сиятельство. Мы тебе добра желаем. Уезжай, не то худо будет». Князь не уехал, и было худо: лунной ночью запылал княжеский, дворец, зарево полнеба охватило.

И старый Игнат думал: что принесет ему эта «гроза»? Отпустят холопов на волю. В Новинской же нет холопов, мужики не рабы, а государственные крестьяне. Поговаривают, что помещичью землю делить будут. В Новинской нет помещичьих земель. Против кого бунтовать новинским?

Старый Игнат не был бунтарем, он не звал своих односельчан к насилию, он лишь жаловался на свою судьбу, жаловался таким же, как он, обездомленным.

— Если взять нынешний год. Три раза поднимал отец Иван святую заступницу нашу Варвару. Все поля обошел отец Иван со святой иконой, а дождика не получилось. Выгорели хлеба. К кому нам теперь, коли бог закрыл ухо для нашей молитвы? Одно остается, к царю, ведь от бога его власть. Скажи, Степан, ты у нас в сотских ходишь, ты как бы иерей бога земного, так скажи обществу, поможет нам царь?

Степан, не старый еще человек с острыми, глубоко посаженными глазами, усмехнулся:

— А как же, поможет. Оброк да подати востребует.

— Где я этот оброк да подати возьму? — спросил Игнат, спокойно глядя в глаза сотскому. — Значится, ты у меня солому с крыши сорвешь.

Игнат говорил о том, о чем все думали, но слова Игната никого не огорчили. Их нужда была древняя, застарелая и, точно хроническая болезнь, уже не беспокоила. Но не говорить об этом старики все же не могли: язык сам к больному зубу тянется.

На эти «посиделки» являлись и ребята. Они, конечно, не участвовали в беседе стариков — бегали, прыгали, играли. Заводилой в детских играх были Игнатка и Петруша. У каждого было свое «войско», и они вели беспрерывные «войны». Петруша был мал годами, но силой и упорством

мог поспорить с любым из деревенской детворы. «Стенка» Петруши всегда опрокидывала «стенку» Игнатки, хотя у Игнатки были «бойцы» не моложе десяти лет. Петруша побеждал и в борьбе один на один, но в «маневренных войнах» отряд Петруши всегда терпел поражения. Игнатка хитрил, лукавил, плутовал, играл с подвохом, и его «войско» всегда оказывалась не там, где было условлено, а там, где было выгодно Игнатке.

Только что закончилась игра: «войско» Петруши потерпело поражение и рассеялось, а сам «военачальник» прилег у ног деда. Неторопливая речь старого Игната убаюкивала мальчика, усыпляла, но Петруша заставлял себя слушать. Правда, суровый смысл дедовских слов не доходил до сознания девятилетнего мальчугана, однако он понял, что существует какой-то царь и он может приказать сотскому Степану сорвать солому с их крыши.

«Бог дождика не послал», овсы тоже погорели.

Решил Алексей Игнатович отправиться с сыновьями в Москву.

Петруше было грустно: не хотелось уходить из деревни; почему-то чудилось, что в его отсутствие произойдут большие перемены. Сотский Степан сорвет солому с крыши, и он, маленький Петруша, когда вернется из Москвы, никого на старом месте не найдет.

3

Артель новинцев пришла в Москву со стороны Можайска, и, чтобы попасть в село Преображенское, надо было им пересечь чуть ли не весь город. Двигалась артель скопом, по мостовой; ее часто задерживали городовые. Они требовали «бумаги», допытывались, «откуда и зачем», и все городовые говорили одинаково грубо. Петруше казалось: вот выхватит усатый дядька саблю из ножен и тут же перерубит всю артель; завидев городского, он закрывал глаза и шел, пошатываясь, держась за отцовскую штанину.

Артель пришла, наконец, в село Преображенское. Устроились в сарае. Петруша, лежа на спине, улыбался. Под крышей гнездились воробьи. Они перепархивали с балки на балку, весело щебетали, вылетали в слуховое окно, чтобы через несколько мгновений вновь появиться. Петруша знал, что он в Москве, он сжился уже с этой мыслью, но такая Москва, какая виделась ему под крышей сарая, напоминала ему деревню, и это радовало его.

Светит ли солнце в Преображенском? Петруша ответил бы: светит только по воскресеньям. Петруша работал в «заготовочной». Там стояла квадратная печь, и на ней, словно на плите в большом хозяйстве, целый день что-нибудь варилось: клей, краски. Из котлов шел густой пар, он поднимался к потолку, отплывал к стенам, кружил вокруг лампы или тянулся к окошку, оседая на стеклах сизой пленкой.

В «заготовочной» Петруша и жил. При лампе начинался рабочий день, при лампе кончался.

В воскресенье видит Петруша солнце. Он уходит к отцу рано утром. В кармане — получка за неделю. И серебро и медяки: пятьдесят семь копеек! Свой заработок Петруша отдает отцу, а тот покупает для него «припас» на неделю: хлеб, огурцы, воблу, а иногда и связку бубликов за шесть копеек.

Отдав деньги, Петруша ложится на отцовскую койку. В избе шумно: кто белье стирает, кто сапог чинит, в одном углу водку пьют, в другом — о божественном говорят. Петруша лежит с закрытыми глазами. Перед ним плывет Новинская песчаная дорога... плывет и не проплывает. Вот мать, строгая, скупая на ласку, но от нее веет теплом...

Из тела уходит усталость, накопленная за неделю, на душе становится легко, и Петруша засыпает.

Просыпается он к обеду: оттого ли, что шум в горнице внезапно затихает, или оттого, что запах каши, прорвавшись сквозь сон, вызывает томление в желудке.

Артель мирится с постоянным воскресным гостем — Петрушу допускают к котлу.

Под Новый год Петрушу перевели в палильную мастерскую. Медные листы печи накаливаются докрасна, на них палят ворс. Машина вертится быстро, чтобы не горела ткань. Возле каждой печи работают четыре мальчика: двое расправляют кромки, двое палками укладывают мокрую материю. В палильной стоит духота и вонь. К ночи мальчики так устают, что тут же падают и засыпают. Больше двух-трех месяцев никто из мальчиков не выдерживает этой каторги: заболевают или сбегают.

Петруша проработал полгода. Палильня сказала на нем только в одном: по воскресным дням он спал на отцовской койке так крепко, что приятный запах горячей каши уже не прорывался сквозь его усталость.

Петруша похудел, лицо его удлинилось, и оспенные рябинки стали глубже. Изменились и глаза: они словно стали больше, и вместо прежней детской доверчивости появилась в них взрослая озабоченность, а порой и суровость.

Приказчик, видимо, сам заметил, что Петруша сдает. В субботу, выдавая мальчику получку, он сказал:

— С понедельника — в сушилку!

Петруше было всего десять лет, и жизнь казалась ему несложной. Ему жилось трудно, но он считал, что иначе и быть не может. Другой жизни Петруша не знал. Не зря дед постоянно твердил: «Худо было, худо будет». И поступки людей казались Петруше несложными: они делают то, что им выгодно. Когда приказчик сказал: «С понедельника — в сушилку!» — Петруша подумал: «Почему?» И мысленно ответил себе: «Приказчику выгодно». Он платил Петруше семьдесят одну копейку в неделю, а в сушилке мальчикам таких больших денег не платят.

— Не пойду в сушилку!

Приказчик был толстый, дышал часто и поминутно вытирал платком жирную шею.

— Глупыш, там работа полегче.

— Тоже скажете, полегче. Знаю: денег вам жалко.

Приказчик задыхал чаще:

— Глупыш, не денег мне жалко, а тебя. Запаришься в парильне.

— А сколько будете платить?

— Сколько получал, столько и получать будешь.

Сушильня помещалась в каменном сарае. Был ли сарай тесен или так полагалось, но машины стояли так близко друг к другу, что проходы между ними были едва заметны. Петруша, войдя в сушильню, остановился в недоумении: как тут будешь двигаться? Сушильные барабаны — огромные медные цилиндры, наполненные горячим паром, — вращались с большой скоростью. Между валами тянулись полотнища мокрого ситца. В сарае стоял смрад. У Петруши закружилась голова.

Мастер первым делом щелкнул Петрушу по лбу.

— Ты чего остановился? Невесту себе высматриваешь? Ступай к четвертому барабану. Только рубаху скинь, а то шестерня захватит.

Петруша не двинулся с места: его обуял страх. Но второй щелчок подбодрил его. Он скинул рубаху и шагнул в узкий проход между машинами. Он шел с опаской, скашивая глаза на урчащие валы. Как мимо собаки: а вдруг она укусит?

В июле 1861 года стояли знойные облачные дни. Дышать было нечем: воздух — влажный и горячий; люди чувствовали себя беспомощными, словно их закутали в мокрые простыни.

В сушильном сарае — невыносимая духота. От барабанов струится обжигающий зной. Люди работают в одних подштанниках, но и эта легкая одежда кажется им тягостно-тяжелой; со всех ручьями льет пот.

Около полудня, когда Петруша еле на ногах держался, мастер приказал ему:

— Становись к печи!

У печи работать легче, чем при барабанах. Не надо одним глазом следить за шестернями, чтобы не угодить им на зубья, не надо следить за ходом полотнища, чтобы края не завернулись, не надо прикасаться пальцами к огненным валам, чтобы расправлять складки на ситце. У печи можно ни о чем не думать: знай подкладывай дровишки, да и только! Но в этот день, когда люди в сушильне чувствовали себя не лучше рыбы, выброшенной на берег, стоять возле раскаленной печи было просто не под силу двенадцатилетнему Петруше.

— Не пойду! — заявил он решительно, окинув мастера смелым взглядом.

— Ты что сказал?

— Не пойду к печи. Вот что я сказал.

Мастер считался мучителем ребят — он бил их за провинности и без провинностей, щелчки по лбу он раздавал походя, чтобы «сопляк под нотами не вертелся». А тут сопляк взбунтовался! Разъяренным быком накинулся мастер на Петрушу: пощечина за пощечиной! Сначала мальчик покорно сносил побои, но вдруг изловчился и укусил мастеру руку. Когда же тот, ошеломленный внезапным отпором, отступил на шаг, Петруша, склонившись, нанес своему мучителю удар головой в живот.

Что было дальше, Петруша не знал. Выбежал из сушильни. В сарае, где были сложены вещи, взял свою котомку — и вон из Преображенского.

Петруша ушел в Новинскую. Он шел на Можайск, через Гжатск-город, берегом Вазузы-реки, питался лесной ягодой, отбивался от собак, и на ночлегах — в овине ли, в копне ли сена, или в лесной сторожке — он видел один и тот же сон: семья сидит за столом, все умытые, в чистых рубашках, и перед каждым ложка, а бабушка достает из пышущей жаром печи большой

чугун мясных щей.

Сон не был в руку. Когда он, усталый, грязный, появился на пороге родной избы, на него никто не обратил внимания, хотя вся семья была в сборе. В красном углу под образами сидел дед — худой, с лысым черепом и бородой цвета осенней травы. Он сидел в одном белье, со скрещенными на груди руками и был похож на покойника, которому еще не закрыли глаза.

Все сыновья и их жены стояли полукругом и всячески попрекали старика.

Самый старший сын, Макар, уже сам дед и с такими же, как у отца, совиными глазами, зло выкрикивал, потрясая в воздухе кулаком:

— Федорка с царской службы возвратился! Где ему семейство заводить? У тебя, что ли, за пазухой?

Случайно глянув в сторону двери, он увидел Петрушу. Это его не удивило. С большей яростью в голосе, ниже склонившись к отцу, он воскликнул:

— Посмотри! Щенок Алексея и тот прибег! Скажи ему, где его земля!

Все посмотрели на Петрушу, но тут же отвернулись, точно появление мальчика не было для них неожиданностью.

Наконец поднялся Игнат — торжественный, под глазами мертвенная синь. Он перекрестился, потом произнес размеренным голосом:

— Значится, вы пришли со мною лаяться? С царем лайтесь, а не со мною. Это он своей царской милостью лишил нас земли.

Поднялся шум. Громче всех шумел Макар.

Старик выждал, пока сыновья успокоятся, и тем же размеренным голосом продолжал:

— Было моего хозяйства две десятины. От отца, от деда. Да четыре десятины в аренде от Мальвинского помещика держал. Дал царь мужикам волю. Дедовскую землю за нами оставили, а помещичьей аренды лишились. Продал помещик землю купцам — на что она ему, земля-то, без рабов? — Старик посмотрел на сыновей, потом прикрыл глаза и тихо закончил — Значится, без землицы и остались... Было нам худо, стало хуже, а со мною лаяться не след, к царской милости я не причастен, Ищите в городе кусок хлеба.

Петруша вернулся в Москву, и на этот раз ему повезло: он попал к

«доброму» хозяину.

Ткацкая была небольшая. Каменная, двухэтажная, она, как длинный комод, стояла против хозяйских палат.

Всех рабочих в ткацкой было сто пятьдесят, и все они жили в казарме — один только старший мастер был «приходящий». Хозяин — Конон Васильевич — был шумный, беспокойный, на язык приветливый. В ткацкой он бывал ежедневно: одного пожурит, другого похвалит, и всё добродушно, весело; пожалуется на трудные времена, тут же расскажет что-то смешное и на полуслове оборвет: «Некогда, бежать надо!»

Ткацкую фабрику Конона Васильевича звали в Москве «запойной». Это название родилось еще при Рябинкине, тесте Конона Васильевича. Был это купчина жадный, умный, но малоденежный. Конкурировать с замоскворецкими толстосумами Рябинкин не мог, и его фабрика чахла. Тогда решил Рябинкин стать «благодетелем». Сам в прошлом ткач, он объявил себя «благодетелем» ткачей: правда, не всех а только запойных пьяниц. «Беру горемычных на полный свой кошт», — пустил он слух по Москве. И «горемычные» потянулись к «благодетелю».

Рябинкин так повел дело, что самый горький пьяница вынужден был пить одну только воду. Запойный попадал в казарму и, словно арестант, переступивший тюремный порог, сразу лишался своего прошлого: высокий глухой забор и сторож у калитки отрезали от него внешний мир.

Казарма была низенькая, с маленькими окошками. Зато каждый вновь приходящий получал койку с чистым бельем, а в случае необходимости и одежду. Правое крыло казармы занимали кухня и столовая. Утром, до работы, — чай и каша; в обед — щи и каша, на ужин — каша и чай. Хлеба вволю. По воскресеньям квас, в большие праздники — мясо. Готовила приветливая старушка; она же и прислуживала за столом. По праздничным дням столовая превращалась в домовую церковь: приходили попик с дьячком, службу правили. Все, как в тюрьме: и койка, и бачок с кашей, и божье слово, только без прогулочного часа. После завтрака работа, после обеда работа, после ужина сон — где тут горемычным о водке думать! Они ходили, как в чаду, отупелые, одурманенные, едва на ногах держались после семнадцатичасового рабочего дня.

Кроме «горемычных», работали еще и «мальцы», такие, как Петруша. И они работали по семнадцать часов, зато по праздникам — гуляй душа! Летом Петруша отправлялся с ватагой подростков в Сокольники; там они дотемна играли, боролись, бегали. Зимой можно было видеть Петрушу на Москве-реке. Он был широк в кости, крепок телом, а кулаки — как камни. Взрослые приглашали его в свою «стенку», и кулаки Петруши не раз

решали исход «боя».

Неделя унылого труда в пыльной ткацкой требовала разрядки, резких движений, острых переживаний.

Но вскоре поостыл Петруша: игры и драки ему надоели. Его начал интересовать мир, огромный мир с его тайнами. Живут ли люди на Луне? Где берут воду дождевые тучи? Почему падают звезды с неба? Почему у разных народов разные боги? Петруша знал, что на все эти вопросы можно найти ответы в книжках.

В один из праздничных дней Петруша подсел к ткачу, который слыл на фабрике грамотеем. Начал Петруша издалека:

— За окном дождь, в такую погоду никуда не пойдешь, а в казарме скучно. — И, решившись, выпалил: — Ты бы, Митрич, грамоте меня поучил. Книжки читать хочется.

— Читать хочется? — удивленно повторил Митрич последние слова Петруши. — Вот ты какой!.. Давай приступим. — Он достал книгу из ящика, раскрыл ее и ткнул пальцем в одну из букв. — Вот это «а». Две палочки с перекладинкой посреди... А вот это «бе».

Палочки, кружочки, клеточки — все это на первых порах показалось Петруше удивительным, даже загадочным. Буковки расплывались в его глазах, они теряли свои очертания. Но постепенно стали буковки приобретать устойчивость, а на пятом уроке Петруша уже уверенно разбирался в большом разнообразии палочек и кружочков, и ему даже удавалось складывать несложные слова, при этом Петруша улыбался стеснительно, сам не веря, что он проник в великую тайну словорождения.

Уроки прекратились внезапно, прекратились тогда, когда слово из трех слогов еще казалось Петруше длинным и сложным. И в том, что уроки прекратились, «виноват» был сам Петруша.

В воскресенье, за обедом, приключился припадок с одним из запойных. Это был тихий изможденный человек. Он работал из последних сил, плохо ел, плохо спал, ходил покачиваясь. Не человек, а отработанная ветошь. И эта ветошь вдруг взбунтовалась. Возможно, прорвалась предсмертная тоска; возможно, что это была последняя попытка протестовать против бессмысленно загубленной жизни.

Заикаясь, захлебываясь в слезах, он стал ругать Конона Васильевича, мастера-придиру, бога и какого-то помещика Ишутина. Он грохнулся на пол, извивался ужом, стонал, бил себя кулаком по голове, потом вскочил на ноги и... осатанел: расшвырял посуду на столе, набрасывался на товарищей, выкрикивая при этом: «Загубили!.. Загубили!..»

Его отнесли на койку, водой отпаивали, а он все свое: «Загубили!» —

то криком, то шепотом. Вдруг поднялся, поспешно собрал свои пожитки в скудный узелок и виновато промолвил:

— Ухожу.

Всем стало не по себе. Сами они были не счастливее этого несчастного, но, видя перед собой человека, которого гонит с места смертная тоска, они поняли, что он никуда уже не прибьется, что он свалится, не дойдя до калитки.

Тут вступился Петруша:

— Надо Конона Васильевича потребовать. Пусть отдаст ему заработанное.

Действительно, как это они об этом забыли! Человек восемь с лишним лет работал на фабрике и ни разу своего заработка не брал.

— Кто пойдет за хозяином?

— Я! — вызвался Петруша.

Явился Конон Васильевич, под хмельком. Он пришел, чтобы отчитать рабочих: что, мол, по святым дням беспокоите? Но, увидев ткача с мертвыми глазами, сразу подобрел.

— Это мы мигом сообразим. Петруша, сбегай за «конторой»!

Явился старичок. Узнав, в чем дело, он принес книгу «Заработанное», полистал, нашел нужную страницу и тут же на глазах у ткачей подвел итог: одиннадцать рублей семнадцать копеек.

Наступила такая тишина, что при закрытых окнах слышался шум осеннего ветра. Ткачей подавила цифра. Каждый из них думал в эту минуту о себе: сколько придется ему получить, когда и он станет ветошью?

Вдруг слышался спокойный голос пятнадцатилетнего Петруши.

— Это как понять? За восемь лет причитается одиннадцать рублей с этими копейками? Или за каждый год?

— Все про все, — объяснил старичок, показывая пальцем на последнюю строчку.

Ткачи верили «конторе»; они знали: более честного, чем он, пожалуй, и во всей Москве не сыщешь. Потому-то и в спор с ним не вступили. А Петруша разъярился:

— Врешь, «контора»! Не может того быть! Он что? Хуже моего работал? А я за один год получаю двенадцать рублей!

Конон Васильевич, схватив Петрушу за вихор, повернул его лицом к себе:

— Чего не в свое дело мешаешься?!

Петруша рубанул по хозяйской руке:

— Ты за вихры не таскай! Не для тебя отращивал! А ему заработанное

отдай! Смотри, кончается человек, а ты его грабишь.

Слова Петруши как бы напомнили ткачам, что этот сытый под хмельком купчик грабит и их. Поднялся шум; кое-кто уже в драку лез...

До драки не дошло. Конон Васильевич выбежал из казармы, кликнул сторожа, и через несколько минут Петруша оказался за калиткой. Вещички вынес ему один из «мальцов».

Свежий ветер гонял покоробленные листья. В воздухе был разлит густой осенний запах. Сквозь обнаженные деревья виднелись Кремлевские башни.

Куда идти? Отец в деревне. Игнатка — ох, не любил его Петруша! — жадный, не примет бездомного брата. Влас в Серпухове работает... Беда, некуда идти!..

Но ни разу у Петруши не зародилась мысль, что не след было вмешиваться в чужое дело. Наоборот, парень чувствовал подъем, словно нечаянная радость его посетила. Даже сожаление, которое нет-нет да покалывало: «А ведь уроки-то кончились», — и это не омрачало радости Петруши.

Закинув котомку за плечо, Петруша зашагал в село Преображенское, туда, где он начал путь ткача.

Утром Петруша пустился по Преображенскому искать работу.

В шерстопрядильню купца Афанасия Трофимова нужны были ткачи. Сторож отвел Петрушу в контору и, подойдя к молодому человеку, который очень ловко перекидывал костяшки на счетах, кратко доложил:

— Привел ткача.

— Где ты работал? — спросил конторщик, не поднимая головы.

— Тут работал, в Преображенском. В Москве работал, — ответил Петруша.

— Получал сколько?

— Известно сколько, как все ткачи.

Молодой человек посмотрел на Петрушу. Он увидел широкого в плечах парня с крупными, словно топором вырубленными чертами смуглого лица, слегка тронутого оспенной рябью, с шапкой густых черных волос, с ясным, добродушным взглядом.

— Дерзишь? — спросил он удивленно.

— Дерзости тут никакой не вижу. Вы спрашиваете, я отвечаю.

Ответ прозвучал учтиво, но с достоинством, и это понравилось конторщику.

— Как звать?

— Петрушей.

— Фамилия?

— Нет у меня фамилии.

— Отца как звать?

— Алексеем.

— Будешь Алексеев.

— Пусть Алексеев.

Молодой человек написал что-то на клочке бумаги.

— Отдай эту бумагу старшему мастеру.

И Петруша вышел из конторы Петром Алексеевым.

Квартирного хозяина Петра Алексеева можно было уподобить заводному волчку, у которого испортилась пружина. Лет шестьдесят он вертелся в покоях помещичьего дома: сначала казачком, потом камердинером, наконец, дворецким. Он разжигал трубки, чистил сапоги, бегал с поручениями, одевал и раздевал барина, вел счет носовым платкам. С утра до ночи был он занят мелкими делами, но эти мелкие дела-казались ему крайне важными и ответственными. Вышла холопам «воля». Помещик распустил дворню, с семьей переехал в Москву, а старику дворецкому снял домик в селе Преображенском — домик в одну комнату с кухонькой, и выдавал ежемесячно десять рублей ассигнациями на прокорм.

Пружина у волчка испортилась, и лежит он на боку, никому не нужный, жалкий.

Но этот жалкий, никому не нужный «волчок» все еще чувствовал себя в графских покоях. С утра он одевался в кафтан, проверял по описи, все ли вещи в сохранности, записывал в тетрадку копеечные расходы на хлеб и на крупу, подавал самому себе обед в белых нитяных перчатках.

Петр познакомился со стариком в первый же свой рабочий день. Он отпросился у мастера «на часок», квартиру подыскать. Пересекая церковную площадь, Петр увидел: старичок с белыми бакенбардами и чисто выбритым подбородком, одетый по-чудному — красный кафтан с золотыми галунами, черные короткие штаны и длинные белые чулки, — беспомощно отбивается от уличных озорников — мальчишки не выпускают старика из своего круга. Они хватают его за штаны, за фалды кафтана, издеваются над ним. Старик не сердится: добрыми глазами смотрит он на

своих мучителей, как бы желая смягчить их своей покорностью.

Чего безобразничаете! — рассердился Петр.

— А тебе что? — огрызнулся великовозрастный парень, по-видимому вожак.

— Пропусти его!

Ватага вмиг перестроилась. В Петра полетели колючки, камни, песок. Мальчишек было много, но безобразничали одни только великовозрастные, малыши лишь шумели, свистели, орали.

Петр раскрыл руки и, сделав бросок вперед, сгреб великовозрастных и так сжал их в своих объятиях, что парни взвыли.

Ватага бросилась наутек.

Когда Петр отпустил своих пленников, к нему подошел старичок. Он сделал какое-то смешное движение рукой и ногой и, сняв шапочку, почтительно сказал:

— Покорнейше благодарю-с, сударь, за ваш благородный поступок.

Петр мрачно взглянул на старичка:

— Домой идите, а то опять налетят.

— Мне недалеко, рядом живу-с. А вам, молодой человек, я чувствительно признателен за ваш благородный поступок.

«Чудной, старик», — подумал Петр.

— Идемте, дедушка, я вас до дому доведу.

Старичок действительно жил рядом. Возле калитки он сказал:

— Смею ли я вас, сударь, попросить о большом для меня одолжении-с?

— Чего?

— Разрешите вас, сударь, покорнейше просить откусать у меня, чем бог послал.

Петр охотно согласился: он был голоден.

Небольшая комната, чистенькая. На окне — белые занавески, на столе — белая скатерть, цветы в граненом бокале. Перед кроватью — коврик. Розовая лампадка перед иконой.

«Кто он, этот чудной старик? — подумал Петр. — Живет, как барин, говорит, как барин, а одет, как скоморох».

— Кем вы будете?

— Шестьдесят три года при их сиятельстве графе Матвее Ильиче Ольховском состоял-с.

— Одни живете? Или семейство есть?

— Один, сударь, как перст один. Когда при их сиятельстве состоял-с, некогда было семейством обзаводиться, а теперь-с, в последнюю дорогу

собираючись, мирское и на ум не приходит. Мысли склонны больше к божественному.

Говоря это, старик степенно покрыл часть стола чистенькой салфеткой, потом поставил солонку, корзинку с хлебом, затем аккуратненько, в виде буквы «П», разложил нож, вилку и ложку и в свободное пространство между ножками буквы «П» поставил стопкой три тарелки — одна другой меньше.

Петр, словно замороженный, следил за приготовлениями. Салфетка, фарфоровая хлебница, узор из вилки, ножа и ложки — все это он видел впервые. Ему лестно, что он будет обедать, как барин! Но не от этого разливается тепло по телу Петра — он предвкушает обильный и сытный обед: ведь не из-за пустяка старик так тщательно готовил стол.

А старик готовил стол по долголетней привычке, не думая даже о том, нужны ли вилки и набор тарелок. Он накрывал так, как накрывал десятки лет для своего барина. Нищенский «пансион» обрек бывшего графского дворецкого на полуголодное житье, и своему избавителю он мог предложить только остатки своего собственного скудного обеда: миску пустых щей и к тому же порядочно остывших.

Но, как ни странно, нищенский обед умилил Петра: он почувствовал себя в привычной обстановке, — и это придало ему смелость.

— Дедушка, вы бы не взяли меня в нахлебники?

Глаза Петра — ясные, добрые — смотрели на старика с наивностью сельского жителя, неожиданно попавшего на шумную городскую улицу.

Старик вдруг почувствовал себя нужным: он будет считать чьи-то носовые платки, накрывать на стол, — он будет состоять при ком-то.

Не ошиблись оба. Петр приобрел покойное пристанище. Он отдавал все деньги старику, а тот не только сытно кормил своего нахлебника, но еще умудрялся экономить из скудных Петровых заработков, чтобы приобрести для него новые штаны к рождеству, крепкие сапоги к пасхе.

Старик же — Осип Осипович — нашел защитника и заботливого сына, чуткого собеседника, перед которым можно было «душу раскрыть», а в старческой душе, такой безмятежной при первом знакомстве, таилось много горечи. Старик был наивен и незлобив. Все хорошее, что случалось с ним, он приписывал «доброте и благородству их сиятельства», во всех своих злоключениях винил только себя.

Петру, в сущности, было безразлично, благородны или неблагородны господа, — ни он к ним, ни они к нему отношения не имели, но Осипа Осиповича он слушал охотно. Его рассказы казались Петру частицей того уюта, в котором он впервые очутился. Отработав восемнадцать часов в

грязи, в шуме, в духоте, Петр приходил домой в чистоту, в тишину. Под спокойный говорок старика съедал он свой ужин и, если тело не очень ныло, садился за букварь. Старик, сам малограмотный, поощрял эти занятия. Он усаживался рядом с Петром и, смотря в букварь, повторял вслед за ним: «Ка-ре-та вы-е-ха-ла из двор-ца...»

Шерстопрядильня купца Афанасия Трофимова была не лучше и не хуже десятка других фабрик, которых в те годы было много в селе Преображенском. Все они помещались в деревянных сараях, и на всех фабриках рабочий день длился 17–18 часов. Постоянных рабочих не было ни на одной из этих фабрик. Перед ярмарками фабрикант брал всякого, кто мог встать за станок; после ярмарок, когда торговля затихала, фабрикант выкидывал за ворота и новых и старых рабочих. Твердых расценок на этих фабриках также не существовало: когда товар нужен был, хозяин платил по рублю за кусок, миновала нужда в товаре — шестьдесят копеек. И даже из этих шестидесяти копеек мастер ловчился урвать несколько копеек штрафами. Имелись еще и «сезонные расценки», более высокие после пасхи, когда народ убывал в деревню, и нищенские после покрова, когда деревенский люд возвращался и в Москве получался избыток рабочих рук.

В последние месяцы получился перебой с сырьем. Фабрика работала четыре, а то и три дня в неделю. С тревогой в сердце Петр ежедневно отправлялся на фабрику: допустят к работе, или мастер скажет: «Погуляй еще денек, пряжи нету».

В один из таких тягостных прогулов Алексеев от нечего делать принялся щепать лучину для самовара, хотя ее было уже припасено месяца на два вперед.

Осип Осипович прихварывал. Собственно, болезни никакой у него не было: на него как бы напало раздумье. Он двигался медленнее, чем обычно, говорил, тише, чаще ложился.

Раскалывая сухие сосновые щепки, Петруша думал, чем бы растормошить старика. Лежит на кровати, смотрит в угол, а лицо неподвижное и торжественное, как у мертвеца. Даже седые бакенбарды приобрели какой-то неестественно зеленый оттенок.

Была поздняя осень. За окном уже обнажилась береза; злые порывы ветра раскачивали ее голые ветви... Все — земля, крыши, стены домов —

было покрыто влажной пленкой.

Закат оживил, расцветил на несколько минут комнату, но когда потухли последние лучи, пахнула в окно неприветливая сырость осеннего вечера.

Петр, засветив лампочку, присел к столу против больного и принялся читать вслух книжку. Петр читал нетвердо, а тут он еще волновался: рассказ был страшный. Шайка Ваньки-Каина затаилась в кустарнике. Издали доносится перезвон ямщицкой тройки. Едет купец с богатой казной... Ванька-Каин выходит на дорогу в подряснике, с посохом в руке. Подскакивает тройка. Останавливается. Колокольчики замирают. «Садись, божий человек, — приглашает купец, — подвезу». Вдруг монашек свистнул по-разбойничьи и уже было поднес посох, чтобы одним ударом в голову порешить купца, да не тут-то было: купец сорвал со своего лица приклеенную бороду, и перед Ванькой-Каином оказался сыщик...

Осип Осипович повернул голову. Лицо оставалось неподвижным, но в глазах блеснуло что-то живое, словно огонек мигнул со дна.

Петр это заметил.

— «Ванька-Каин не растерялся, огрел коня тяжелым посохом, тройка взяла с места вскачь...» — продолжал он читать более бодрым голосом.

Петр взглянул на больного, и у него сразу пропала охота к чтению. Осип Осипович лежал с закрытыми глазами, и лицо его как бы подернулось изморозью.

Петр отложил книжку, потушил лампу и лёг на скамью.

Во сне Петру почудилось, что кто-то ходит по комнате. Он вскочил на ноги, вгляделся в темноту: никого. И все же слышится какое-то поскрипывание. Петр подошел к кровати. Осип Осипович дышит часто, захлебываясь, задыхаясь.

Петр зажег лампу. На стене возле кровати появилась бугристая тень.

— Осип Осипович, попейте молочка. Полегчает.

Слова, видимо, дошли до сознания больного. Он посмотрел на Петра расширенными, испуганными глазами, а широко открытый рот, из которого вырывались булькающие хрипы, делал лицо беспомощным и страшным,

Петр выбежал из комнаты. Ночь была темная, хмурая. На пожарной каланче покачивался красный фонарь. Сквозь сизую дымку неясно мигали звезды.

Петр побежал на просеку, где недалеко от полицейского участка жил врач.

Не найдя звонка, Петр постучал в дверь кулаком. Раскрылась щелка, и заспанный голос спросил:

— Кто?

— Человек кончается!

Петра впустили в коридор. В углу — высокая девушка; беличья шубка накинута на плечи. В одной руке она держит свечу, а другой прикрывает пламя.

— Подождите. Сейчас разбужу отца.

Девушка ушла. Петр остался в темноте. Где-то скрипнула дверь.

Прошло минут десять. В глубине коридора показалась горящая свеча; позади свечи — две фигуры: высокая, острая, и низенькая, круглая.

— Кто болен? — спросил добродушный голос.

— Дедушка.

— Давно?

— Недели три.

Доктор — в пальто и меховой шапке — подошел к Петру.

— Молодой человек, — сказал он укоризненно, — дед болен три недели, а вы ночью поднимаете врача с постели. Не могли вечером пригласить или дождаться утра?

— Было ничего, — оправдывался Петр. — А вот ночью худо стало.

Они вышли на улицу. Петр рвался вперед, а доктор — старенький, с одышкой — шагал не спеша, часто останавливаясь.

Когда Петр раскрыл дверь в свою комнату, он невольно попятился: ему показалось, что со стены исчезла тень Осипа Осиповича.

Доктор снял пальто, аккуратно положи его на скамью и, потирая руки, подошел к кровати.

— На что жалуемся? — спросил он, придвигая к себе стул.

Но, взглянув на больного, он не сел, повернулся к Петру и строго сказал:

— Вот видите, молодой человек, три недели ждали...

Петр впился глазами в больного: голова Осипа Осиповича лежала глубоко в подушке; тело, словно оно сразу отяжелело, ушло в глубь соломенного мешка. Глаза тусклые; нижняя челюсть отвисла. Рот огромный, а оттуда — ни звука, ни дуновенья. Бакенбарды смяты, скомканы. Петр почувствовал, как потеют его ладони. Блуждающим взором он смотрел на покойника. Ему хотелось кричать, буйствовать или плакать тихо, спрятав лицо.

— Есть родные? — спросил доктор.

— Никого нет.

— Печально... Печально... А все же, молодой человек, убиваться не следует: таков закон природы.

Доктор оделся и направился к двери.

— Погодите!

Петр достал серебряный рубль из «общей кассы».

— Не надо, молодой человек. Вам нужны будут деньги. Похороны, поминки. Вам предстоят большие расходы.

Но Петр грубо настаивал:

— Берите!

Доктор взял монету, но как только Петр отвернулся, он положил ее на краешек стола и осторожно, на цыпочках, ушел.

9

В «общей кассе» было одиннадцать рублей, и все эти деньги Петр истратил на похороны.

Стал Петр жить один. Было неуютно, грустно. Осип Осипович унес с собой теплоту, которая скрашивала жизнь Петра.

Особенно тоскливо Петру по праздникам: сидеть в комнате не хочется, и на улицу не тянет. Хоть в Новинскую удирай!

Давно, очень давно не был Петр дома. Умер дед, умерла и бабка, отец строит чугунок где-то возле Гжатска. Братья разбрелись по ткацким: кто в Замоскворечье, кто в Серпухове. Один Игнатка рядом, в селе Преображенском. Но Петр не любит старшего брата: никчемный парень. Он служит в трактире, Как ученая обезьяна, носится он с подносом между столиками, холуйски улыбается, когда ему горчицей мажут лицо, униженно кланяется за пятак. А в воскресенье — франт франтом: в коротком пиджачке, в ботиночках, с тросточкой в руке. Не любит Петр старшего брата.

Но скоро кончилось одинокое житье. В воскресенье явился Яков Денисович — графский посыльный: кривоногий мужичонка с рыжей окладистой бородой. Петр сидел за столом, читал.

— Пенсион принес, — сказал он певучей скороговоркой, — Осипа Осиповича, видать, дома нетути?

— Нетути, — передразнил его Петр.

— А где, к примеру, находится Осип Осипович?

— На кладбище.

— Эк его понесло! — ухмыльнулся Яков Денисович, поглаживая рыжую бороду. — Ближе места для прогулок не нашел-с? А когда, к примеру, возвратится он с прогулочки? У нас, парень, беда: запропалились какие-то бумаги. Вот граф и приказал выведать у Осипа Осиповича: авось

он припомнит.

Петр подошел к Якову Денисовичу, положил ему руку на плечо:

— Скажи своему графу, псу этому...

— Что ты? Парень! За такие слова, к примеру, знаешь...

Петр тряхнул гостя так, что у того шапка слетела с головы.

— Ты чего?

— А ты слушай. Скажи псу мохнорылому, графу этому, пускай сам ищет свои бумаги. Помер Осип Осипович. Понял?

Яков Денисович заморгал глазами, перекрестился и со вздохом сказал:

— Отмучился...

И участие, которое слышалось в голосе Якова Денисовича, примирило Петра с ним.

Несколько минут они молчали. Вдруг Яков Денисович потянул Петра к скамье, сам сел и усадил Петра рядом с собой.

— Слушай, парень, есть дельце. У графа, к примеру, денег куры не клюют, а у нас с тобой шиш. Верно я говорю?

— Верно.

— Вот давай, парень, так сделаем. Графу ни гу-гу, будто жив-здоров Осип Осипович. Я буду, к примеру, каждый месяц пенсион приносить, а мы с тобой эту десятку по-братски: пятишницу тебе, пятишницу мне. Так, парень?

— Не так.

— А как?

Вместо ответа Петр распахнул окно, вернулся к скамье, взял Якова Денисовича в обхват, прижал немного, чтобы не бился на весу, и молча вышвырнул его во двор. Потом Петр закрыл окно и опять уселся за книгу, не обращая внимания на неистовую ругань Якова Денисовича.

А в понедельник вечером, придя домой с фабрики, Петр нашел свою комнату опустошенной. Ничего не осталось: ни кровати, ни мебели, ни посуды, ни иконы, ни занавески на окне.

Июль 1871 года. Петр Алексеев засветло вернулся домой. В комнатенке было душно. Петр вышел во двор. Наполнив колоду водой, принялся умываться.

Из флигелька показался юноша в легком полотняном костюме, с

полотенцем через плечо. Постояв немного, он весело сказал Алексееву:

— На вашу фигуру воды в колодце не хватит.

— И вас бог фигурой не обидел, — ответил Петр, добродушно поглядывая на высокого и полного юношу.

Юноша подошел к Петру.

— Жить на реке и купаться в колоде! Противоестественно, уважаемый сосед!

Петр Алексеевич знал, что его собеседник «из ученых», — так хозяин отрекомендовал Петру своего нового жильца, — но «ученый» уж очень смахивал на деревенского парня: лицо в веснушках, нос картошкой, лохматые волосы.

— Пошли на Яузу! — согласился Петр.

Вода в Яузе прозрачная, светлая. Стройные ольхи подступают к самой реке.

Петр и студент Константин Шагин выкупались и легли на теплый песок. Далеко-далеко видны поля, частые перелески, деревни. Тихий ветерок чуть шевелит листья на прибрежных кустах.

— Хорошо! — сказал Петр.

— А вас еще упрашивать надо было.

Петр повернулся лицом к своему соседу.

— Забыл, поверьте мне, я попросту забыл, что есть река, где можно выкупаться.

— Все работа да работа?

— Не в работе дело! Человеку трудиться полезно. Дело в том, где работать, как работать и сколько работать. Скажем, я. Работаю у купца Афанасия Трофимова. Фабрика это? Нет. Потолок на голове, станок впритык к станку. Дышать нечем.

— Почему не переходите на большую фабрику?

— Что я? Враг себе?

— Не понимаю.

— Это вы верно сказали: стороннему человеку трудно понять. Казалось бы, чего проще: нехорошо тебе на маленькой фабрике, переходи на большую. А переходить, оказывается, невыгодно.

— Почему?

— Попробую объяснить вам. На маленькой фабрике рабочих немного, они знают друг друга. Захотел, скажем, Трофимов сбавить расценок, мы сейчас во двор — да сговор: «Не будем работать, и все!» А на большой фабрике рабочих много. Доля у них одна, а думают врозь. У себя по квартирам артели шумят: «Грабеж! С голоду подыхаем!» А являются на

фабрику — молчок. Крюковская артель ждет, чтобы высказалась репинская, а репинцы поглядывают в сторону новинских. И кому это на пользу? Хозяину.

Петр приподнялся, внезапно оживился.

— Вот вы человек образованный, объясните мне. Фабрик много. Значит, и фабрикантов много. Тут тебе и купцы, и богатеи мужики, и бывшие помещики. Но откуда это берется, что все фабриканты одинаково хозяйничают? Что у них, книги такие имеются? Или их кто обучает, как с нашего брата шкуру драть?

Если бы Петр Алексеев увидел, какая радость вспыхнула в глазах его собеседника, он был бы немало удивлен. Константин Шагин состоял в студенческом революционном кружке. И он и его товарищи по кружку много толковали о том, что община — это нравственный уклад мужицкой души, что в деревне существует целая гармоническая, высокогуманная система взаимной помощи. Они наивно верили, что община сама сумеет избежать буржуазного развития со всеми его бедствиями и пороками. Но он, Константин Шагин, не мог не видеть и того, что видел Петр Алексеев: фабрик много, и работают на этих фабриках мужики — обнищавшие, ограбленные мироедами, задавленные поборами и налогами, выброшенные из «общинного рая». Константин Шагин и переехал в село Преображенское для того, чтобы сблизиться с фабричными, — и вот удача: он набрел на рабочего, который сам задумывается над социальными проблемами.

— Вы грамотный?

— Через пень колоду.

— Но книжки читаете?

— Одна слава, что книжки. В них или целуются, или стреляются.

— Вы очень домой торопитесь?

— Чего торопиться? Никто меня не ждет.

— Расскажите о себе, — предложил Шагин. — У меня, видите, книг много, охотно буду снабжать вас, но какие книги вам полезны — не знаю. Поэтому расскажите о себе подробно: где работали, как работаете, о чем думаете.

Петр Алексеев давно мечтал о человеке, с которым можно было бы поделиться своими думами, у которого можно было бы спросить совета, кто раскрыл бы перед ним тайны природы, те тайны, которые его волнуют с отроческих лет. У Петра Алексеева уже накопился и собственный жизненный опыт, но делать какие-либо выводы из своего опыта он не умел. За свою короткую жизнь Петр Алексеев сталкивался со злом во многих проявлениях, но где истоки этого зла? Он понимал, что жизнь сложна, что

взаимоотношения между людьми строятся по каким-то ему неведомым законам, и он искал эти законы в книгах. Не его вина, что в двухкопеечных книжонках, которые он покупал у офеней, описывались выдуманные люди и выдуманная жизнь.

И на берегу Яузы в теплый июльский вечер Петр Алексеев сам был поражен: какую пустую, какую бедную событиями жизнь он прожил! Ему идет двадцать второй год, из них он работал тринадцать, а рассказа об этих годах хватило меньше чем на полчаса.

Но именно то, что Петру Алексееву казалось незначительным, интересовало Шагина. За этим «незначительным» он разглядел мужественного юношу, готового в любую минуту ринуться в бой за то, что сам считает справедливым.

С этого дня завязалась у них дружба. В первые дни Константин Шагин только беседовал с Петром, по большей части на людях, чтобы придать встречам случайный, соседский характер. Потом стал давать Петру книжки: «Антон Горемыку», «Подлиповцев». Алексеев читал запоем, ночи напролет и, прочитав эти книжки, возмущенно спрашивал Константина:

— Как это возможно?! Как это народ терпит?!

Прочитал Петр «Сороку-воровку» Герцена. Книжка не вызвала у Петра такого волнения, как «Подлиповцы» или горемычный Антон, зато ему понравилось, что автор «Сороки-воровки», не таясь, указывает пальцем на подлецов. Герцен не только описывал жизнь, но и объяснял ее.

От Герцена Константин Шагин перешел к Гоголю, и не столько ради самого Гоголя, сколько ради того, чтобы прочитать Петру Алексееву письмо Белинского к Гоголю. От Белинского — к Чернышевскому...

Петру Алексееву казалось, что он поднимается на крутую гору и что с каждым шагом воздух делается все более разреженным, — дыхания не хватает. Сердцем понимал Петр Алексеев, что он все ближе подходит к разгадке жизненных тайн, однако умом все еще был не в силах постичь эти тайны: знаний было мало.

Петр Алексеев захотел учиться, учиться всему, что помогло бы ему разобраться в трудных вопросах. В эти недели стал Петр Алексеев учиться и письму. Он усаживался ночью за стол и тяжелой, усталой рукой выводил печатные буквы, копируя их по книжке.

И тогда, когда Петру Алексееву уже казалось, что перед ним распахиваются ворота в чудесный мир познаний, жизнь опять нанесла ему удар.

Под вечер приехали на двух пролетках несколько полицейских. Они

направились прямо во флигелек...

Петр знал, что там, во флигеле, сейчас совершается подлость, но он, силач, кулачный боец, был беспомощен, как ребенок.

Константина Шагина арестовали. Захлопнулись ворота в чудесный мир.

Снегу навалило за ночь! Куда ни глянь — бело. Снег лежит, опорошенный алмазной пылью. В воздухе гудит — колокола со всех церквей сзывают верующих к поздней обедне. И люди спешат: много троп они проложили в мягком снегу.

Петр Алексеев стоял возле калитки без шапки и без пальто. Уж который раз выбегает он из дому налегке, не думая о том, что может простудиться и все напрасно: девушки в беличьей шубке нет и нет!

Глупо, очень глупо получилось вчера! Петр ругал своего сожителя, тоже ткача, ругал от всего сердца острыми, пряными словами.

— Будешь ты, такой-сякой-этакий, прибирать за собой? Будешь ты, такой-сякой-этакий...

В комнату вошла девушка в беличьей шубке. Петр Алексеев прикрыл рот ладонью, а его сожитель загоготал.

— Мне нужен Алексеев.

Но она, видимо, сама знала, кто из двоих Алексеев, подошла к Петру и, улыбаясь, сказала:

— Здорово ругаетесь!

Что-то знакомое почудилось Петру Алексееву з лице и даже в голосе девушки. «Где я ее видел?» — допытывался он у своей памяти.

— Костя Шагин слышал, как вы ругаетесь?

Алексеева словно обухом огрели.

— Где он?! Скажите, я побегу к нему!

— Никуда вам бегать не надо. Завтра с утра мы с ним к вам придем.

И прежде чем Алексеев успел собраться с мыслями, девушка выскользнула из комнаты.

Петр Алексеев был ошарашен. Предстоящая встреча с Костей Шагиным волновала, а вот девушка... При первом взгляде на нее померещилось Петру что-то знакомое и тревожное. Где он ее вздел?..

Свидание ни с Костей, ни с девушкой не состоялось.

Остаток дня Петр бродил по заснеженным улицам. Он где-то обедал, с кем-то говорил, с кем-то спорил, но все впечатления этого дня были тусклые, приглушенные, овеванные щемящей грустью.

Небо было уж в звездах, когда он подходил к своему дому и... насторожился: на скамье сидел городской, пришлый. Петр не встречал его в Преображенском. Что он тут делает? Случайно присел отдохнуть или дежурит? Когда делали обыск у Кости Шагина, такой же городской дежурил на улице, на этой же скамье сидел.

Петр прикинулся пьяным. Пошатываясь, он прошел мимо городского, сделал большой крюк и опять вышел к своему дому, но с противоположной стороны. Городовой на месте!

Обыск! Никакого сомнения! И именно у него, у Петра Алексеева, больше не у кого: хозяин — вполне благонадежный, а во флигельке, где жил Костя Шагин, поселилась хроменькая старушка с двумя маленькими внучатами. «Видать, доискались, что я дружил с Костей Шагиным...» — подумал Алексеев.

И вдруг его как бы осенило: да ведь девушка в беличьей шубке дочь старого доктора! Надо немедленно побежать к ней, предупредить!

Дверь открыл сам доктор.

— Что желаете, молодой человек?

— У меня дело к вашей дочери.

Старик испытующе взглянул на Петра.

— Моей дочери нет дома.

— Когда она вернется?

— Не знаю... Не знаю, молодой человек.

Алексеев в большом затруднении. Он знает: доктор порядочный человек, — случай с рублем убедил его в этом, — но можно ли ему сказать, что его дочь выполняет поручения арестованных студентов? И все же решился:

— Скажите ей, пожалуйста, что к Петру Алексееву не надо ходить.

— А кто этот Петр Алексеев?

— Я.

— И к вам моя дочь ходила?

— Должна была прийти.

Доктор запер входную дверь на ключ.

— Идемте.

Он ввел Алексеева в кабинет.

— Расскажите, кто вы, зачем вы нужны моей дочери и почему к вам нельзя.

Петр рассказал.

— Немедленно уезжайте из Преображенского! Слышите? Немедленно! Верочка арестована! Слышите? Вчера ночью ее арестовали. А сегодня пришли за вами. Садитесь. Я вам перевязку наложу. Для видимости. За моим домом следят.

Он накрутил два бинта на правую руку Петра, потом довел до двери.

— Есть у вас деньги?

Петр вытащил из кармана рубль: хотел уплатить за перевязку.

Старик возмутился:

— Я спрашиваю: есть ли у вас деньги на дорогу?

12

Петр Алексеев переехал в Петербург. В центре города — порядок и чистота. Монументальные здания тянулись ровными шеренгами, блестя зеркальными окнами и как жар сиявшими медными скобками парадных подъездов. На этих улицах, в этих домах жили фабриканты, чиновники — жили господа.

За пределами нарядного района царили нищета, запустение. Вместо тротуаров — доски; при каждом шаге они хлопали, обдавая пешехода фонтанами грязи. Домики маленькие, выкрашенные в желтый скучный цвет.

Алексеев рано узнал, что есть два Петербурга. Еще мальчиком он распевал в красильне:

Столица наша чудная
Богата через край.
Житье в ней нищим трудное,
Миллионерам — рай!

Фабрика Торнтона, куда поступил Петр Алексеев, была крупная: десятки прядильных машин, сотни ткацких станков, паровые установки, больше тысячи рабочих.

Петр Алексеев стал присматриваться к соседям по ткацкой, прислушиваться к их разговорам и из многих намеков понял, что где-то за Невской заставой живут студенты, которые, подобно Косте Шагину, охотно

дружат с рабочими.

На фабрике Алексеев близко сошелся с наладчиком Ваней Смирновым. Их влекло друг к другу, хотя люди они были разные. Ваня Смирнов — нежный, с тонким лицом и мягким взглядом. Алексеев же поражал размахом плеч, мощной грудью и резкой, как бы нарочито грубой речью. Усы черные, густые; они придавали излишнюю суровость его и без того суровому лицу. Но наладчика Смирнова роднила с ткачом Алексеевым тоска по справедливости.

Уже второй час простаивает станок Петра Алексеева. Ваня Смирнов протирает флянцы, моет керосином втулки.

Окна ткацкой выходят на юг, и летнее солнце, проникая сквозь пыльные стекла, освещает бок станка немощным, приглушенным светом. На полу, у самых ног Алексеева, копошатся солнечные зайчики. Петру грустно: почему-то вспоминается село Преображенское, жалкий Осип Осипович...

— Петруха, ты о чем задумался?

— Хорошего человека вспомнил.

— Где он, этот хороший человек?

— Помер. Понимаешь, Ваня, лет ему было много, больше семидесяти, а сердцем был чист, как ребенок.

— Бывают такие люди... И не только старики.

— Это ты прав, Ваня. Бывают. — И тихим голосом добавил: — Вот, говорят, у нас тут за Невской заставой такой человек живет, студент. Синегубом его звать. Говорят, он рабочих грамоте обучает.

Словно из-под земли вырос мастер Келли — жилистый, рыжий. Келли — англичанин, и хотя он уже второй год работает в Петербурге, но знает всего несколько русских слов: сволёшь, мужик свинючий, полючи расшот, ходи к шорту, оштрафлю и молёдец. Этого словаря ему вполне хватает, чтобы объясняться с рабочими, а рабочие его прекрасно понимают: важны не слова, а интонация, выражение лица англичанина.

— Сволёшь!

Это обидное слово сейчас означало: когда же вы, наконец, закончите?

— Скоро, господин Келли, — ответил Смирнов.

— Оштрафлю!

— За что, господин Келли? — спокойно спросил Петр Алексеев.

Англичанин ткнул пальцем в грудь Алексеева:

— Молёдец и мужик свинючий!

Петр Алексеев понял и эти слова: «Ты хороший рабочий, а копаешься, как лодырь».

— Разладился станок, господин Келли. Вот наладчик его выправит — и приступлю к работе.

— Долго! Очень долго!

И англичанин исчез так же внезапно, как и появился.

— А ты, Ваня, действительно копаешься.

— Старье, Петруха, части сработались.

Смирнов, склонившись, стал завинчивать гайку.

Опустился на корточки и Алексеев. Присматриваясь к работе товарища, он неожиданно сказал:

— Ваня, не пойти ли нам к этому студенту? Работаем, работаем, а света божьего не видим. Что мы, насовсем продались Торнтону?

— Думаешь, Петруха, что студент только грамоте обучает? — загадочно спросил Смирнов, не отрываясь от дела.

— А ты, Ваня, испугался? Сразу каторга примерещилась?

— Зачем каторга?

— Так чего же пугаться? Или мы с тобой никакого касательства к жизни не имеем? Или ты в самом деле только «сволёшь и мужик свинючий»? Вот был у меня дед. Умный старик, а все толковал: «Плохо было, плохо будет». А я не согласен. Должно быть хорошо, вот как я рассуждаю. Но откуда хорошему быть? Торнтон нам хорошую жизнь даст?

— И студент ее не даст.

— Верно, Ваня. И студент ее не даст, но он скажет, где она припрятана. Научит, как ее добыть. Я тебе про Костю Шагина рассказывал...

— Был Костя — и нет Кости.

— Если этак рассуждать, то и по улице лучше не ходить, — кирпич может на голову свалиться.

Кругом стоял шум, неумолчный шорох ременных передач, а Алексеев, сидя на корточках, говорил о самом затаенном.

Смирнова, тянуло к студентам не меньше Алексеева, но теперь он лукавил, отделяваясь уклончивыми фразами не потому, что не доверял Петрухе: работая с ним несколько месяцев, он успел убедиться, что парень золото, только диковатый, упрямый, с какой-то дубовой нестигаемостью. Можно ли к студенту с таким медведем?

Он поднялся, вытер руки:

— Принимай станок, Петруха! А об остальном поговорим после работы.

В осенний вечер 1873 года Алексеев с двумя товарищами — Смирновым и Александровым — отправились к студенту. Сам Синегуб, Сергей Силович — тонколицый, в очках — открыл им дверь и пригласил в комнату.

Алексеев был удивлен: дощатые стены покрыты рваными обоями; грубый некрашенный пол пляшет под ногами; на столе — глиняный горшок и несколько кружек. Петр Алексеев не знал еще тогда, что

нужда друзьям казалась забавой,
и часто кровь их грела вместо дров...

— Небогато живете, — сказал он и тут же смутился, встретившись взглядом с женой Синегуба.

Она встала из-за стола, протянула руку:

— Присаживайтесь, друзья, и будем чай пить.

Вышла на кухню и скоро вернулась с большим пузатым чайником.

«Даже, самовара у них нет», — мысленно отметил Алексеев.

За чаем и завязалась беседа.

Сергей Силович, узнав, что его гости работают у Торнтона, сказал:

— Я был на вашей фабрике. Как вы только выдерживаете! Жара, духота, вонь. И в такой обстановке простоять на ногах двенадцать часов. Ужасно!.. Хотите, я прочитаю вам стихотворение, которое написал после посещения вашей фабрики?

Сергей Силович был высокий и ладно скроенный, только сутулился немного. Он шагал из угла в угол и певучим голосом, не торопясь, четко выговаривая слова, читал:

Мучит, терзает головушку буйную
Грохот машин и колес,
Свет застилается в оченьках крупными
Каплями пота и слез.
Грохот машин, духота нестерпимая,
В воздухе клочья хлопка;
Маслом прогорклым пахнет удушливо...
Да, жизнь ткача не легка!

Кашель проклятый измучил всю грудь мою,

Также болят и бока,
Рученьки, ноженьки ноют, сердечные...
Стой целый день у станка.
Нитка порвалась в основе, канальская.
Эх! Распроклятая снасть!
Сколько греха-то ты примешь здесь на душу,
Господи боже, так страсть!

Ах, да зачем, да зачем же вы льетесь.
Горькие слезы, из глаз?
Делу помеха, основу попортите —
Быть мне в ответе за вас.
Как не завидовать главному мастеру,
Что у окошка сидит,
Чай попивает да гладит бородушку —
Видно, душа не болит,

Ласков на взгляд, а пойди к нему вечером,
Станешь работу сдавать —
Он ту работу корит да ругается,
Все норовит браковать.
Все норовит, как бы меньше досталось
Нашему брату, ткачу.
Эх! Главный мастер, хозяин, надсмотрщики,
Жить ведь я тоже хочу!

Синегуб давно уже закончил чтение, а Алексеев все еще чего-то ждал.
— Ну как? — спросила жена Синегуба. — Верно описано?

Алексеев ответил резко:

— Верно! Но для кого ваш муж написал это? Скажите, Сергей Силыч, для кого? Для ткачей? Тогда напрасно потрудились. Ткачам все это знакомо. А про слезы — просто чушь! Ткачи не плачут. Они знают, что слезами делу не поможешь... А еще хуже получилось у вас в конце. Вывели ткача на паперть, поставили его с протянутой рукой: «Подайте Христа ради, жить ведь я тоже хочу!» Плохо это, Сергей Силыч! Вы на меня не обижайтесь. Я человек малограмотный. За тем и пришел к вам, чтобы уму-разуму набраться. Чтобы вы меня всяким еографиям и еометриям обучили. И стихи хочу читать! Но какие стихи? Не про горе наше горькое, а про силу

нашу народную! Сергей Силыч, голубчик, я не хочу валяться в ногах у фабриканта! Не хочу ручку протягивать: «Родненькие, подайте ткачу, ведь он тоже жить хочет». Сергей Силыч, я хочу фабриканта за горло схватить: «Отдай, подлец, мою трудовую копейку! Я ее потом и кровью заработал!» Вот как я хочу! И ты научи меня, как к Торнтону подступиться!

Вдруг Алексеев спохватился: кому он это говорит? Студенту! Поэту! И ему стало неловко.

— Простите меня, Сергей Силыч. Разошелся, как в кабаке.

Но странное дело: Синегуб обнял Петра Алексеева, прижал его к груди.

— Родной! И мне конец стихотворения не нравится. Но я не нашел... не нашел лучшей концовки. А теперь нашел! Знаете, как я закончу?

Эй, работники, несите
Топоры, ножи с собой!
Смело, братья, выходите
За свободу в честный бой!
Мы под звуки вольных песен
Уничтожим подлецов!

— Может быть, не эти слова, — волнуясь, добавил он. — Но что-то боевое, зовущее к борьбе!

И опять не повезло Алексееву: после третьего занятия Сергей Силович заявил:

— Вы, товарищи, уж простите меня, некогда мне с вами заниматься. Во как зашился! Ежедневно хожу на Лиговку, в артель каменщиков. Артель большая, душ восемьдесят. Дышать некогда.

Синегуб все же позаботился о торнтоновцах. Рядом с Синегубом жила Софья Львовна Перовская — тоненькая девушка с небольшой русой косой, серыми глазами и по-детски округлыми щеками. К ней в кружок и перешел Алексеев.

Сначала он был недоволен: чему может научить его такая барышня? Ему тогда и на ум не могло прийти, что именно эта хрупкая девушка благодаря своему хладнокровию и распорядительности решит успех царевубийства 1 марта 1881 года. Алексеев тогда и не поверил бы, что судьба столкнула его с одной из самых выдающихся русских революционерок, что имя этой тонкой девушки с ласковым взглядом серых глаз войдет в историю, как имя первой женщины, казненной по

политическому делу.

В кружке у Перовской читали «Фабричные рассказы» Голицинского, «Анчутку беспятого» Майнова, «О земле и о небе» Иванова, читали о Новгородском вече, о волжской вольнице, рассуждали о том, что порядки на Руси не на правде держатся.

И все же разочарован Петр Алексеев. Его учителя говорят о крестьянском безземелье, о будущем России, а вот о фабричных делах избегают говорить.

Не удовлетворяла Петра Алексеева программа народников: он не видел в ней главного — призыва к борьбе с фабрикантами, но другой революционной организации в то время не было.

— Я тебя понимаю, Петр Алексеевич, — сказал ему однажды Михаил Грачевский. — Тебе невтерпёж. Но для того чтобы свершилась социальная революция, одного народного отчаяния недостаточно. Нужно еще, чтобы у народа выработалось представление о своем праве. Для этого мы и должны идти в народ.

— В народ! — откликнулся Алексеев. — А мы кто? Вот ты, Михаил Федорович, когда говоришь о будущем социалистическом обществе, почему-то в этот рай только одних мужиков зовешь. А рабочие где? Без нас хочешь социализм утвердить? Нет, Михаил Федорович, без рабочих ты социализма не добудешь, один мужик не добьется победы! А ты, Михаил Федорович, хочешь и меня, фабричного рабочего, в деревню сплавить! Не хочу я в деревню! Не хочу, Михаил Федорович! Мне среди рабочих агитировать надо.

После этого спора Алексеев ушел от Грачевского вместе с дружкой своим — Ваней Смирновым.

На синем небе четко вырисовывалась игла Петропавловской крепости, мосты изогнулись деревянными горбами, а вода под ними казалась подернутой ледяной коркой.

Петр Алексеевич взял товарища под локоть;

— Давай, Ванюша, кружок на заводе собьем. Свой, рабочий кружок! Понимаешь, Ваня, все они, учителя наши, чудесные люди, жизнь готовы отдать за народное дело, а вот не понимают они чего-то. Всё в деревню к мужику тянут, а мужик-то в город бежит, на фабрику.

И они организовали у себя на фабрике кружок. Обучали рабочих грамоте, сами читали им книжки. Когда Вася Смирнов ушел от Торнтон, остался Петр Алексеевич один руководить кружком. И не о «мужике» говорил Алексеев своим слушателям, а о своих, рабочих делах: о расценках и штрафах, о пыли в ткацкой, о длинном рабочем дне.

В начале семидесятых годов обозначились в народничестве два главных течения: пропагандисты, или лавристы, и бунтари, или бакунинцы. Лавристы задались целью подготовить революцию пропагандой. Они хотели поднять народ до своего уровня и подготовить из народной среды ядро, которое смогло бы провести в жизнь социалистические идеи.

Бунтари же не только не думали учить народ, но считали, что им самим надо учиться у народа. Они считали, что народ вполне готов к социалистической революции, что в народе накопилось много горючего материала и достаточно искры, чтобы вспыхнул пожар. Этой искрой и должна стать интеллигенция.

Даже лучшие из народников не видели процесса разложения крестьянства, не замечали и образования мелкой крестьянской собственности. Капитализм, считали они, принесет России неисчислимые бедствия, и в качестве средства для спасения России от «ужасов капитализма» они выдвигали крестьянскую общину, усматривая в ней «зародыш социализма».

И это они проповедовали в то время, когда даже «верноподданные» газеты и журналы посвящали статьи Марксу и I Интернационалу. Правда, верноподданные журналисты писали о марксизме с целью опорочить учение Маркса, но, споря с Марксом, они все же были вынуждены излагать его учение. О работах Маркса и о I Интернационале писали и «левые» и «правые»: «Отечественные записки», «Русский мир», «Киевлянин», «Русские ведомости», «Заря», «Беседа», «Московские ведомости», «Голос», «Русская летопись», «С.-Петербургские ведомости». Даже «Сельский пастырь» — журнал, издаваемый для сельских попов, и тот в 1871 году поместил большую статью о I Интернационале и об его организаторе — «зловредном существе Карле Марксе». Но либералы, не соглашаясь с Марксом, все же понимали, что и Россия пойдет по пути капиталистического развития, а народники, заимствуя у Маркса революционную направленность, в то же время отрицали открытые им экономические законы развития общества.

Не понимали народники учения Маркса! В мае 1870 года в Петербурге забастовала Невская бумагопрядильная фабрика; в 1872 году вспыхнула забастовка на Кренгольмской мануфактуре: бастовало четыре тысячи рабочих. Они требовали сокращения рабочего дня, повышения расценок, человеческого обращения. Фабриканты забили тревогу: они поняли, что рабочий класс выходит на линию огня, что в России завязываются первые классовые бои. А народники проглядели классовую сущность этих забастовок — они сделали для себя упрощенный вывод: народ бунтует! И

стали искать более тесной связи с «бунтующим» народом.

Они, революционные народники, не собирались связывать свою деятельность со стачечным движением пролетариата, отнюдь нет, они лишь хотели использовать рабочих, этих выходцев из деревни, для пропаганды среди крестьянства.

Часть народников, главным образом учащаяся молодежь, селилась в фабричных районах, знакомилась с рабочими, обучала их грамоте, просвещала, и горячая проповедь этих честных, самоотверженных интеллигентов пробуждала наиболее передовых рабочих.

Синегуба арестовали, за Перовской охотились жандармы, но все это не охладило влечения Петра Алексеева к революционерам. Он искал других людей, которые помогли бы ему добыть «свободу, свет и социальную справедливость».

И он нашел. Студенты Медико-хирургической академии устроили на Монетной улице общежитие-коммуну. Руководил ею Василий Семенович Ивановский, прозванный за свой огромный рост Василием Великим. Это был неутомимый организатор. Он устраивал в коммуне «чаепития» для рабочих, а за чаем члены коммуны читали вслух «Исторические письма» Лаврова, работу Берви-Флеровского «Положение рабочего класса в России», роман Чернышевского «Что делать?» и его статью «Русский человек на rendez-vous», «Историю французского крестьянина» Эркмана-Шатриана, обсуждали статью Добролюбова «Что такое обломовщина», читали роман Герцена «Кто виноват?» и роман Шпильгагена «Один в поле не воин»,

«Чаепития» были многолюдные, но Василий Великий мечтал о более обширной аудитории. И для этого он наметил текстильную фабрику Торнтон.

В декабре 1873 года Василий Великий устроил собрание в трактире, расположенном рядом с фабрикой Торнтон. На это собрание явилось около пятидесяти рабочих, и среди них Петр Алексеев. После этого собрания Алексеев стал завсегдатаем коммуны на Монетной. Сначала ему полюбились громкие читки, потом библиотека, где он зачитывался Лассалем и Миллем, а потом...

Вышло это случайно. В воскресный день, направляясь в коммуну,

Петр Алексеев увидел: на углу Монетной дерутся мальчик с девочкой. Им было лет по восемь-девять; оба грязные, в лохмотьях. У обоих текла кровь из носа, у обоих струились слезы по лицу, но они, не обращая на это внимания, тузили друг друга с таким остервенением, точно поклялись биться до смерти.

— Вы что? — спросил Алексеев, разводя драчунов. — Убить друг друга хотите?

Мальчик вырывался из рук Алексеева:

— Пусти! Пусти!

— Из-за чего драка?

— Он у меня хлеб забрал, — сказала, плача, девочка.

Это заинтересовало Алексеева.

— Почему ты у нее забрал хлеб?

— А я что, не голодный? — тоже плача, ответил мальчик.

— Тетенька дала кусочек хлеба мне!

— А. я что, не голодный? — упрямо повторил мальчик.

До удушья перехватило горло у Алексеева; лоб покрылся холодной испариной.

— Идемте со мной, — еле выжал он из себя и повел их в коммуну.

Оставив детей в коридоре, Алексеев зашел к Ивановскому.

Василия Великого не было дома. За столом сидела девушка и читала.

— Дайте хлеба! Чего-нибудь поесть дайте!

Девушка поднялась. Статная, смуглолицая, с веселыми глазами.

— В первую очередь, — сказала она, откинув за спину длинную косу, — надо поздороваться, когда входят в комнату. Во вторую очередь, скажите, кто вы. — Она протянула тонкую руку. — Я Прасковья Семеновна, сестра Василия Семеновича.

Петр Алексеевич вспыхнул:

— Все эти очереди оставьте до другого раза! Есть у вас еда или нет?!

Грубый тон незнакомца озадачил Прасковью Семеновну. Она только вчера приехала в Петербург, и то немного, что она видела в коммуне, показалось ей более чем странным.

— Однако вы не очень вежливы...

— Хлеба дайте!

Прасковья Семеновна зачем-то захлопнула книгу и, подойдя к настенному шкафчику, стала доставать оттуда сверток за свертком.

Она стояла спиной к Алексею — не видела, что он вышел из комнаты и тотчас вернулся с двумя оборвышами.

— Это что такое? — удивилась Прасковья Семеновна.

— Не что, а кто! Это голодные! Голодные дети, которые дерутся из-за куска хлеба!

Прасковья Семеновна зарделась: только теперь поняла, что произошло. Она подошла к детям, обняла обоих за плечи и с материнской требовательностью предложила:

— Идемте сначала помоемся.

Проходя мимо Алексеева, она улыбнулась и насмешливо спросила:

— Успокоились, сударь?

Алексеев потупился: ему стыдно стало за свою вспыльчивость, за свою грубость.

Он ушел.

Это было первое воскресенье, которое Петр Алексеев провел в бесцельном шатании по Петербургу.

В бесцельном? Не совсем! Странное чувство владело им. Думалось только о хорошем, приятном. Он казался сам себе богатым и в мыслях щедро раздаривал свои богатства... И вдруг он остановился. «Почему, — спросил он себя, — не собрать десяток голодных детей и не приютить их в коммуне? Кормить их, грамоте обучить... Отогреть, вернуть им детство...»

В понедельник был в коммуне «академический день»: студенты готовились к своим занятиям. На двери висел плакат: «Гостей не принимаем».

Петр Алексеев прочитал надпись и все же дернул за петлю колокольчика. Дверь открыл Василий Великий. Он всполошенно спросил:

— Что случилось?

— Ничего не случилось, — застенчиво улыбаясь, ответил Алексеев. — Я к тебе, Василий Семенович. По делу.

Ивановский ввел гостя в свою комнату.

— Садись, Петро, и говори, какое у тебя дело.

На столе — раскрытые книги. В стакане — пучок подснежников. Петр сел на краешек стула:

— Я тебе помешал? Занимался? Может, тебе некогда?

— Больше вопросов у тебя нет?

— Нет.

— Тогда говори, зачем пришел.

Петр мял в руке картуз и, внезапно рассердившись на что-то, резко спросил:

— Сколько будет стоить кормежка десяти детей?

— Какая кормежка? Каких детей?

Вопросы Ивановского как бы успокоили Петра Алексеевича. Он сказал

мягко, чуть приглушенно:

— Ты не сердись, Василий Семенович. Выслушай меня. У нас есть столовка для холостых. Выйдешь оттуда — сытый не сытый, но все же поевши? а к тебе на улице детские руки тянутся: «Дай, дяденька, хлебца». Голодные, что тут поделаешь? Вот я и пришел к тебе, Василий Семенович, с просьбой: возьми в коммуну десяток детей... Бездомных... Фабричных...

Василий Семенович распахнул дверь:

— Прасковья!

Быстрые и легкие шаги в коридоре.

В комнату вошла Прасковья Семеновна — в белом переднике, раскрасневшаяся. Увидев Алексеева, она протянула ему руку и насмешливо спросила:

— Кого вы сегодня привели?

— Вы, оказывается, уже знакомы.

— Знакомы, Вася. Этот товарищ был здесь вчера, и мы с ним очень приятно побеседовали.

— Он говорил тебе о приюте для подкидышей?

— Василий Семенович! — вспыхнул Алексеев.

— Формулировка не нравится? Уж ты, Петро, помолчал бы! Послушай, Прасковья, с чем он сегодня пришел.

— Догадываюсь.

— Нет, Прасковья, догадки у тебя не хватит.

— А я все же догадываюсь. — Она положила руку на плечо Алексеева.
— Хотите каких-нибудь малышей накормить?

— Десяток! — выпалил Василий Семенович.

— И десяток накормим. Ведите их.

День был хмурый, но Алексееву казалось, что солнце бьет в глаза, и он был вынужден отвернуться. Его растрогала доброта Прасковьи, такая естественная, от сердца идущая, как у матери, которая, не задумываясь, отдает своему ребенку последний кусок хлеба.

Он поднялся, поклонился и, волнуясь, сказал:

— Спасибо вам, Прасковья Семеновна.

— погоди благодарить! Прасковья! Ты ничего не поняла! Он предлагает нам взять детей в коммуну.

— И ты, Вася, не согласен? — удивленно спросила Прасковья Семеновна.

— Не меня надо спрашивать! Не я буду решать, а совет. Но ты, Прасковья, уж очень легкомысленно относишься к предложению Петра

Алексеевича. На тебя ляжет теперь хозяйство коммуны. Обслужить четырнадцать человек или обслужить двадцать четыре — разница! Не справишься ты с этим! — Вдруг Василий Семенович рассмеялся. — Прасковья, да посмотри ты на этого Илью Муромца! Стоит, как школьник, которого собираются сечь! — И тут же серьезно добавил: — Петро, дело ты затеял доброе, по боюсь, не ко времени.

— Не согласна с тобой, Вася. Доброе дело всегда ко времени. Верно я говорю, Петр Алексеевич?

— А вам, может, действительно трудно будет? — робко спросил Алексеев. — Об этом-то я и не подумал.

— И не надо об этом думать. Созывай, Вася, совет. Скажи товарищам, что в доме будет тишина, что дети никому мешать не будут.

Как чудесны летние ночи в Петербурге! Светлые, ласковые: по Неве разбросаны золотые блики; окна в домах распахнуты, и оттуда слышатся веселые голоса; народ на тротуарах не спешит, не суетится, на лицах улыбки, словно каждый рад встрече с тобой. В такие ночи забываешь, что жизнь каторжная, что пути к счастью завалены буреломом, — в такие ночи звезды ярче, цель ближе...

И все, о чем говорит Прасковья, — светлое, ласковое. Как-то слилось в ней детское и мужественное, тоска по светлому «завтра» и будничная забота о сегодняшнем дне. Она была сурова и нежна.

Петр полюбил ее с первого взгляда, но в его любви было больше восхищения, чем непосредственного чувства, когда не знаешь, за что любишь. Он восхищался ее добротой, ее умением просто, душевно, с милой насмешливостью подойти к человеку, ее готовностью взвалить на себя тяжелую работу, ее трезвыми предложениями, когда в коммуне разбирались серьезные вопросы. Прасковья не была наивной барышней из тех, кто судит о жизни по романам, но в тот вечер, когда Алексеев сказал ей о своей любви, она зарделась, растерялась.

И Прасковья полюбила его, но ее любовь, при всей своей нежности, была жесткая, требовательная, Прасковья непрерывно словно подталкивала Алексеева — от мысли к мысли, от книги к книге.

Первое время Петр Алексеевич чувствовал себя неловко. Он думал, что студенты в коммуне смотрят на него с укором: как это ты, мужчина, смеешь заглядываться на интеллигентную девушку? Но вскоре Алексеев убедился, что все это ему только показалось. Прасковья не скрывала ни перед братом, ни перед товарищами своей любви к Петру, и все в коммуне, решительно все считали, что «они достойны друг друга». В их характерах много общего, и неукротимый, вспыльчивый, но с очень нежным сердцем

Алексеев нуждается именно в такой умной и немного жестковатой подруге, как Прасковья Семеновна, которая к тому же предана революционному делу не менее, чем Петр Алексеев.

Днем они оба были заняты — он на фабрике, она в коммуне, вечера уходили на заседания, читки, совещания. Оставались только ночи, петербургские ночи, когда, шагая бок о бок вдоль гранитной набережной Невы, можно говорить о самом затаенном — о том большом счастье, что ждет их впереди.

В эту ночь они не говорили о счастье. Они шли молча и хотя оба думали об одном и том же, но думали по-разному.

Они были народниками одного и того же толка, оба они были борцами за народное дело, только Прасковья Семеновна, когда говорила о народе, думала о мужиках, а Петр Алексеев — о рабочих. И это различие, не мешавшее им в кружковой работе, вдруг выросло в горячий спор, который длился уже несколько дней и сегодня закончился тягостным молчанием, потому что договориться они все же не могли.

Шел 1874 год. Революционная молодежь вырвала из сердца мечты о науке, о личном счастье. Она покидала учебные заведения, спешила облечься в сермягу, чтобы жить жизнью народа, делить с ним горе и радость.

Одни, следуя заветам Бакунина, шли «в народ» организовывать бунты, твердо веря, что народ ждет только случая к восстанию. Эта молодежь, лишенная политического, опыта, не задумывалась: а что же дальше? Вспыхнет бунт, пусть он даже дойдет до вооруженного столкновения, а дальше? Жестокое усмирение.

Лавристы шли «в народ» для мирной пропаганды. Они хотели осесть в деревнях волостными писарями, фельдшерами, кузнецами.

Василий Великий предложил отправиться «в народ» и Петру Алексеевичу.

Алексеев, хорошо зная деревню, отказывался от «хождения», но к его доводам не прислушивались в коммуне, не прислушивалась сейчас и Прасковья.

Только беда в том, что для Алексеева Прасковья Семеновна была больше чем любимая девушка: он безотчётно верил в ее ум, в ее знания, в ее умение разбираться в жизненных сложностях. Он был внутренне убежден, что «хождение в народ» не принесет пользы революционному делу, что все эти «ходы» на первых же шагах своей работы в деревне вызовут подозрение у станowych, у исправников и даже у мужиков. Хорошие, нужные люди погибнут без пользы для дела.

Прасковья же говорит другое. Она знает — будут жертвы, но какая революция обошлась без жертв? Особенно убедительным был ее последний довод: «Скажи, Петр, какая польза народу от того, что мы в своих кружках читаем «Коммунистический манифест», если мы ничего не делаем для того, чтобы сорвать с народа цепи?»

И победила вера в ум Прасковьи: Петр Алексеевич поверил, что Прасковья видит что-то такое, чего он по малограмотности не постигает.

У Троицкого моста после тягостного молчания, которое отдалось болью в сердце Алексеева, он приглушенно сказал:

— Хорошо. Я поеду.

Прошло всего два дня. В коммуне большое «чаепитие». Места за столом не хватает на всех: сидят на подоконниках, на скамьях вдоль стен. Возле двери кучкой стоят несколько ребят. Все внимательно слушают. Читает молоденький студент. Голос у него высокий, чистый, с мягкими переливами, и эта мягкость придает его словам какой-то лирический оттенок. Он читает тонкую, напечатанную на папиросной бумаге книжку.

— «Хитрую механику построили царь с боярами да фабриканты с кулаками, чтобы свалить на наши крестьянские спины все расходы на их барское житье, на их кулаческое пирование...»

В стороне, чуть поодаль от ребят, сидят Прасковья Семеновна и Петр Алексеев. Прасковья Семеновна озабоченно смотрит на своего соседа: он угрюм, левой рукой теревит бороду.

— Петр, — позвала она тихо, — выйдем на минутку.

Петр сначала удивленно посмотрел на Прасковью Семеновну, потом поднялся и последовал за ней.

Коридор длинный, полутемный.

— Петр, что с тобой?

— Тошно, Прасковья.

— Но ведь ты согласился ехать. Может, раздумал?

— Бесполезно это... Бесполезно, Прасковья. Ни мне, ни всем этим хорошим людям нечего делать в деревне. Мужик нас и слушать не станет. Ему земля нужна, а не книжки.

— Ты и идешь в деревню для того, чтобы объяснить мужику, кто у него эту землю забрал.

— От этого мужику разве легче станет? Да он и сам знает, кто его ограбил.

Прасковья снизила голос до шепота:

— А если я с тобой пойду?

Петр Алексеев схватил ее руку, крепко сжал:

— Не смей об этом и думать!

— Много девушек собирается. Что я, слабее их?

— Прасковья, — и в голосе, в котором только что слышалась угроза, вдруг прозвучали нежные нотки: — Прасковья, ты деревни не знаешь. Это в книжках только «Иванушка да Марьюшка», а на самом деле дичь, темнота. Не любит мужик интеллигентов, боится их, как бы нового горя в дом не занесли.

— Тебя-то мужик не боится.

— Но и пользы от меня не получит.

— Петр, ты ведь уже решил.

— Оттого, Прасковья, и тошно. Согласился идти, а сердце сопротивляется. Мы тут нужны, Прасковья, фабричному люду мы нужны.

15

Петру Алексееву не надо было, как это делали его товарищи-студенты, добывать сермягу, отращивать бородку, не надо было заучивать из книг Слепцова или Решетникова простонародные словечки вроде сдюжит, робь, хлобысь, ошшо. Петр Алексеев отправился «в народ» таким, каким был, — он был сам «народ».

Путь предстоял долгий. До Москвы — поездом. В Москве надо было закупить товар и опять по железной дороге до Гжатска. Оттуда пешком по песчаным и лесным просторам Смоленщины до родной Новинской.

Петр Алексеев не умел торговать и не хотел этим делом заниматься, но совет коммуны, снаряжая своих членов в дорогу, сам выбирал «специальность» для каждого «ходака».

— Писарем ты не устроишься, плотничать не умеешь, фельдшерского места тебе не дадут. Остается одно — с коробом.

В Москве Алексеев прямо с вокзала отправился в торговые ряды на Ильинку и по списку Прасковьи Семеновны закупил ленты, иголки, нитки, гребни, пуговицы и несколько десятков двухкопеечных книжек, вроде «Бовы-королевича», «Маленького сонника». Там же в торговых рядах он приобрел короб с крепкими лямками, уложил в него товар. Короб на спину — и на поезд.

В Гжатск он приехал ночью. На небе луна. Вокзал залит зеленым светом. На скамье, под вокзальным колоколом, сидит городской. Лицо зеленое, даже усы кажутся зелеными.

— Борода! — окликнул Алексеева городской. — Куда путь держишь?

— На Сычевку.

— А в коробе у тебя что?

— Товар.

— Купец?

— Выходит.

Видя, что Алексеев взваливает короб на плечи, городской подошел к нему.

— Покажи паспорт!

Алексеев достал из кармана паспорт.

— Ступай за мной!

Он повел Алексеева в небольшую комнату с железной решеткой на окне. На столе неярко горела лампа. Пахло горячим ржаным хлебом.

Городской, склонясь к лампе, разглядывал паспорт.

— Алексеев?

— Алексеев.

— Из деревни Новинской. — Он резко повернулся. — Развязывай короб!

Весь товар городской переложил на стол, дотошно осматривая каждую ленту, каждую пачку иголок, каждую книжку и, покончив с этим, грубо приказал:

— Покажи руки!

Алексеев протянул свои большие, натруженные руки.

Городской вернул паспорт.

— Укладывай свой товар. Без обмана у тебя. А то, знаешь, политики развелись! — добавил он сердито. — Тоже с коробами ходят. А ты из-за них не спи по ночам. Лови их! От себя торгуешь или от хозяина? — закончил он уже миролюбиво.

— Где там от себя: капиталов не хватает.

— И много добываешь?

— Это уж от удачи зависит. В одной деревне на пятак продашь, в другой и на пять целковых,

Петр Алексеев уже завязывал свой короб, когда в комнату вошел хилый, невзрачный старичок.

— Федул-от явился, — сказал он, искоса поглядывая на Алексеева.

— Пьяный? — спросил городской.

— На ногах стоит. Так на ярманку? — обратился он неожиданно к Алексееву.

— А где ярманка?

— То ж у нас, в Голомидове.

— Далеко до Голомидова?

— Считается верст четырнадцать, а будет немного больше, верст восемнадцать. За любезное дело по зорьке пройдем. Торг у нас хороший, народу пропасть. Пошли, что ли?

Алексеев согласился. На перроне старичок взвалил себе на плечи мешок соли, пуда два, и они пустились в путь-дорогу.

Алексеев порядком устал: за спиной короб, ноги увязают в грязи, но предложить старику отдохнуть постеснялся — ведь он с большей еще тяжестью. А тот шагает мерным шагом да похвально: «Ржица у нас во как поднялась», или: «У графа вон, смотри, какие хлеба! На Кубани, поди, колос пореже будет».

— А у тебя-то много земли? — заинтересовался Алексеев.

— Теперича вовсе нету, — охотно ответил старик. — Была земля, десятинки три, да вон оно как получилось. Младшенький сынок с Крымской возвернулся да с деревяшкой вместо, ноги. Куда ему деваться? В работники не берут, к мастерству не приучен. И к тому же еще женился; У жены-от ни кола ни двора, а ндрав господский: это не по ней и то не ндравится: Семья большая, и языки у всех, как аглицкие ножи, острые. Дома — содом, севастопольские бои. Тошно стало жить. Отделил я сынка, дал ему одну десятнику, помог избу поставить и — живи со своей цацой. Осталось у меня две десятинки и восемь ртов. Трудно было, голодно, зато дома благодать: тихо, мирно. Вот, парень, слушай, как оно дело обернулось. У нашего помещика-от новый зятек объявился. Барин ничего, обходительный. Когда еще женихов был, приезжал в деревню, по дворам ходил, с мужиками водился, все выпрашивал, выпытывал. И вон оно как обернулось. Приезжает летом целая комиссия. По полям ходят, вымеривают, высчитывают, в старые планы заглядывают. А прошлой зимой вышло решение: шестьдесят девять десятин мужицкой земли должны возвернуть помещику. Будто его эта земля, будто еще матушка Екатерина ему дарственную подписала. Мы и в суд, мы и к губернатору, — ничего не помогло! Губернатор-от еще пообещался кнутом нас отстегать. «Захватили, — говорит, — чужую собственность». Вот мои две десятинки в чрево кита и угодили.

— Так чем кормишься?

— Сторожем на чугушке служу. Заработок хороший. Как двадцатое число подойдет, пять рублей шестнадцать копеечек получаю. И приработок имею неплохой. Вон, видишь, соль таскаю. Пудика два снесу, и Тихон Ильич мне за это гривенник пожалеет. Кормимся. Только старуха-от все

бунтует. «Грабеж, — говорит, — с землицей получился». Я ей толкую: «Будет еще у нас землица, и не меньше, чем у самого помещика...»

— Кто тебе ее даст? — удивился Алексеев.

— Обчество даст. На пригорке. Место сухое, солнечное. «Как помру, — говорю я своей старухе, — нам там три аршина землицы отмерят. Столько, — говорю, — сколько и нашему помещику, когда он сдохнет». А старуха все свое: грабеж да грабеж.

Хоть весело говорил старик, а Алексееву было грустно. Он как бы вернулся к своему детству, к поучениям деда Игната, к извечной крестьянской нужде. Прошло много лет, как Петр Алексеев ушел из Новинской, — сколько событий за это время, сколько надежд, и... ничего не изменилось, даже хуже стало. Дед хоть ворчал, в округе мужики бунтовали, а вон его спутник — ограбленный мужик — смирился и еще балагурит.

Его, Петра Алексеева, послали к ограбленным мужикам, и послали с чем? С иголками, лентами, книжками да с тайным словом. И вот он должен сказать этому обездоленному старику: «Потерпи, милый, грянет социальная революция, и ты обратно получишь свою землю. Но сначала нужно, чтобы у тебя самого выработалось представление о своем праве». «Чушь, господа интеллигенты! Мужик свое право знает, только право это губернатор захватил и кнутами охраняет. Вот ждет Он, мужик, чтобы мы, горожане, с губернатором расправились, тогда уж он сам свою землю из-под помещика добудет».

— А другие как? — спросил Алексеев. — Тоже смирились и на чугунку ушли?

— Зачем на чугунку? — просто ответил старик. — Кто в город подался, кто в работники к помещику, а кто постарше — с сумой пошел. Кормиться-то надо.

Дорога была ровная, но Алексееву казалось, что он карабкается в гору: спину ломит, ноги тяжелые. А старик знай шагает мерным шагом и с благожелательной заинтересованностью смотрит вокруг, точно впервые попал в это место.

Вот показалось село. «Версты четыре-пять осталось», — не без грусти подумал Алексеев, понимая, что теперь-то старик уже не сделает привала.

Алексеев шагал из последних сил. Вдруг, к его великому удовольствию, старик сказал, показывая на бугор:

— У того холмика маленько присядем, нужно-от деньги посчитать, потому у меня, брат, старуха бедовая, сейчас ей подавай отчет, а то начнет моркву строгать.

Дотащился Алексеев до бугра. Старик скинул с плеча мешок и принялся считать свою наличность. Несколько медяков он положил в карман:

— Это, брат, надо отдать кабатчику.

Остальные деньги он спрятал за пазуху,

— Другой раз зайдешь к нему, выпьешь в долг и, значит, надо теперь расплатиться, а то, пожалуй, боле и не поверит. Только ты смотри, придем домой, не говори старухе моей, что, мол, заходили в кабак, на этот счет она у меня во какая строгая!

Пришли, наконец, в Голомидово. Село большое, с двумя каменными церквями. Солнце уже начинало припекать. Перед кабаком стояли возы.

— Зайдем разговеемся, — предложил старик.

Алексеев потребовал стакан водки, а старик сказал кабатчику:

— Мне, Митрич, махонькую.

Когда кабатчик отошел от столика, старик начал поучать Алексеева:

— Ты, брат, стаканами не требуй. Митрич-от шельма, не доливает, а в махоньком стаканчике ему плутовать несподручно.

Выпили, расплатились. Старик усиленно приглашал Алексеева к себе, сулил пышками накормить. Но Петр Алексеев решительно отказался:

— Недосуг, ярманку провороню.

Он достал из короба пачку иголок и две катушки ниток.

— Отдай своей старухе.

— Это за что ей такой подарок? — удивился старик.

— За то, что она бунтует.

Старик как-то по-детски надул губы, потом многозначительно промолвил:

— Вон оно как!..

На ярмарке было ужелюдно. Торговали с возов, с рундуков и вразнос с лотков и коробов.

Петр Алексеевич выбрал себе местечко в «красном» ряду. Он разложил свой товар и, веселый от выпитого вина, зазывал:

— Подходи, подходи! Товар московский! По случаю купил, задешево продам!

Бабы недоверчиво посматривали на бородатого парня и проходили мимо. «Чересчур бойкий, — думали они, — такой и обманет и обсчитает». А девки льнули к Алексееву. Одни искали нужное, другие только для видимости рылись в товаре: им нравился сам продавец.

Весело торговал Петр Алексеев. Он вернулся в свое прошлое: стал деревенским парнем, для которого ярмарка большой праздник. То высмеет

какую-нибудь курносенькую, то вдруг с галантностью деревенского ухажора протянет девушке колечко: «Бери!»

Это веселье, это многолюдье не понравилось соседним торговцам. Один из них — мордастый, с короткой шеей и крохотными злыми глазами — рванул Петра Алексеева за руку и раскричался:

— Ты чего, варнак, цены сбиваешь? Краденым торгуешь!

И в том, как Алексеев схватил мордастого за шиворот, как вынес его на середину площади и швырнул в лужу, также сказался деревенский парень, который привык разрешать споры кулаком, а не словами.

«Наука» пошла впрок купчишкам — они оставили в покое веселого конкурента.

К обеду затих базар. Алексеев уже подумывал свернуть торговлю, когда заметил, что к нему приближается крестьянка. Высокая, стройная, она не шла, а плавно подвигалась вперед, словно плыла по воздуху.

Подошла и начала молча рыться в товаре. Брала из короба то одно, то другое и тихо спрашивала:

— За сколько отдашь?

Было в ее обличье, в ее повадках что-то напряженное, настороженное — такими бывают гордые невестки в доме злой свекрови.

— Чего, собственно, ты ищешь? — заинтересовался Алексеев.

— Гребешок мне нужен, и мальчонка ножичек просил.

— Сколько лет твоему мальчонке?

— Большой уже, седьмой пошел.

— А денег много у тебя?

Крестьянка разжала кулак: два пятака.

— Мало отпустил тебе твой хозяин.

— Нет у меня хозяина, помер.

Она говорила ровным голосом, чуть виноватым, но не печальным. Она не жаловалась, не навязывала никому своей нужды. Одета опрятно, лицо приветное, только глаза — тихие, как у человека, уже свыкшегося со своим смертельным недугом.

Алексеев выбрал лучший ножик — сам заплатил за него двадцать семь копеек — и лучший гребешок, беленький, с крепкими частыми зубьями.

— Эх, ты, — сказал он укоризненно, подавая крестьянке ножик и гребешок, — искала-искала, а того, что тебе нужно, не заметила!

— Дорого.

— У купцов, что брюхо отращивают, дорого, а у меня совесть есть. Грошик заработаю — и с меня хватает. Плати, тетка, пятак, и в расчете будем.

Она глянула на Алексеева — в ее взгляде отражалось и удивление, и благодарность, и еще какое-то сложное чувство, которое можно было бы выразить словами: «Ты меня понял».

Алексеев выдержал ее взгляд, не выдал своего волнения.

Крестьянка уплатила пятак, спрятала покупку за пазуху и ушла. Только походка стала у нее странной — спотыкающейся, словно вот-вот остановится или рухнет на землю.

Покойно стало на душе Петра Алексеева. Тяжелые мысли развеялись: его «хождение в народ» вдруг обрело какой-то смысл. Нищая крестьянка, гордо несущая свой тяжелый крест, выросла в символ: народ дошел до последней черты, и долго так продолжаться не может. Взрыв неизбежен.

Пообедав в трактире, Алексеев отправился дальше. Вечером он подошел к ручейку. Вдали виднелась деревня Ясенки.

Алексеев прилег отдохнуть. Вдруг слышит шуршание. Из поросли вылез мужик:

— Нет ли огня? Охота покурить, да огня не захватил.

— Садись, покурим.

Сел мужик и начал вытряхивать табачную пыль из своего кисета.

Алексеев предложил своих корешков. Закурили.

— Куда направился? — спрашивает Алексеев.

— Вот тут недалеко, к помещику. Вишь ты, какое дело. Подрядились мы с осени с бабой под овес; тут вот овес подходит, она — нате! — родила. Так вот иду к нему, не переведет ли нас на пшеницу да не даст ли полтину денег на крестины. Ноне всем плати, и попу нужно тоже заплатить, тоже даром не покрестит. Ну, спасибо за табак, надо к помещику идти, аспид его возьми!

Мужик скрылся.

Алексеев хотя и отдохнул уже, а все же не двинулся с места; разыгралось любопытство: даст ему помещик полтину?

Вот и мужик шуршит в зарослях.

— Ты все еще здесь?

— Здесь. Торговать уже поздно, спать еще рано, вот и сумерничаю на прохладе. Садись, покурим еще, да рассказывай, чем помещик тебя порадовал.

— Порадовал, окаянный! Говорит: «А я чем причиной, что твоя жена родила?» Такой аспид! Стал было его просить, чтобы уважил, так куда тебе, и слушать не стал! Так я и пошел ни с чем, даром только проходил.

— И на крестины денег не дал?

— А то даст такой аспид! Скажу тебе прямо: во как затянуло! Не

жиге, а лебеда, и то с песком. — Он поднялся, примял окурок каблуком. — Ничего, брат, когда-нибудь и мы покуражимся, — закончил он загадочно.

Алексеев достал из кармана полтинник.

— Бери.

— Ты что? — испуганно воскликнул мужик. — Мне чужого не надо. Пойду к попу, может, в долг окрестит.

— Бери, не ломайся. Осенью опять тут буду, вот тогда мне и вернешь.

Мужик взял деньги, объяснил, как его найти, и, сняв зачем-то картуз, убежал.

У самого въезда в Ясенки стоял господский дом. Навстречу Алексееву выбежала горничная.

— Есть ли у тебя пуговики к летнему платью?

— Как не быть, красавица! Конечно, есть.

Она пригласила Алексеева в дом, к барыне,

— Покажи свои пуговицы!

Алексеев развязал короб.

— Тоже торговец называется! — пренебрежительно фыркнула барыня. — Роговых пуговиц у него нет. Да понимаешь ты, дурья голова, что стеклянные пуговицы бьются? Раз покатаешь платье, и побьются твои пуговицы.

— Кто ж, барыня, платье катает? В городах нынче платье гладят.

Барыня, видно, не привыкла, чтобы ей противоречили. Она вскипела:

— Пошел вон! Забирай, свою дрянь! Сейчас же убирайся вон! — и ушла в соседнюю комнату.

Алексеев увязал свой короб, вытащил его в сени.

Лил дождь.

— Ничего, если я здесь постою, пока дождик кончится? — обратился Алексеев к горничной.

— Отчего же? Постойте.

Барыня, очевидно, услышала этот разговор. Распахнулась дверь.

— Кому я сказала, чтобы убирался вон отсюда! Или ты ждешь, чтобы тебе дали по шее? Сейчас же пошел вон!

Вступилась горничная:

— На дворе, барыня, потоп.

— У меня не постоянный двор! И не кабак! Сейчас же пусть убирается отсюда! Чтобы духу его тут не было! Грубиян! Еще учить всякий хам будет!

Эх, как чесались руки у Алексеева! Какие крепкие слова просились на язык! Но он смолчал: покупатель имеет право привередничать. Взвалил короб на спину и, улыбнувшись на прощанье горничной, ушел в дождь.

Ясенки, Горбылево, Лужки. Алексеев ходил по дворам. Ни большого торго, ни интересных разговоров. Петр Алексеев хранил на груди десяток революционных брошюр: «Хитрую механику», «Сказку о четырех братьях», «Емельку Пугачева», но ни одной из этих книжек он еще не выдал в чужие руки: подходящих людей не встречал.

И все же Алексеев вел революционную пропаганду. Правда, по-своему, очень своеобразно и без риска быть разоблаченным.



Прасковья Семеновна Ивановская.



Софья Бардина.

Зачем он пошел «в народ»? Чтобы заставить мужика задуматься над своей судьбой. Можно это делать грубо, сказать мужику: ты бедствуешь потому, что тебя земли лишили, потому, что тебя податями задавили. Такие разговоры непременно дойдут до станового, и... конец пропаганде. Алексеев же, хорошо зная строй ума своего брата-мужика, решил идти иным путем: он совершал поступки, которые ошеломляли мужика, вызывали у него раздумье, вселяли в его сердце уверенность, что не все

кругом черным-черно, откуда-то бьет ясный луч. И ночной сторож подумает: «Как бы нам так взбунтоваться, чтобы свою землю обратно получить?»; и гордая женщина скажет соседям: «Не все люди очерствели, есть среди них и такие, что нашу нужду понимают»; и мужичонка на крестинах поведает своим односельчанам: «Врагов-то у нас много, но, видать, есть и друзья». От такого раздумья может родиться воля к борьбе, и, если революционеры сумеют использовать эту народную волю, наступит перемена.

С такими мыслями входил Петр Алексеев в село Царево. Престольный праздник. Ярмарка.

Алексеев пристроился со своим коробом рядом с разбитным парнем, который торговал скобяным товаром. В руках гармошка; он что-то наигрывает.

Подходят девушки.

— Что тиликаешь не знай что! Веселое сыграй!

— Не умею, — чистосердечно сознался парень.

— Тогда дай гармонию, Маша сыграет!

Парень хохочет:

— Ваша Маша, поди, и гармошки в руках не держала!

— Допрежь узнай, а потом уж и скажешь. Наша Маша двух таких мужиков, как ты, за пояс заткнет!

— Будет тебе, Танька, — отозвалась светловолосая девушка с некрасивым, но выразительным лицом.

Парень понял, что это и есть Маша. Он протянул ей гармонию. Девушка, не церемонясь, сыграла несколько песен. Пальцы не очень бегло перебирали лады, но песни звучали душевно, с мягкой плавностью.

Маша, как заметил Алексеев, верховодила в своем кружке: товарки смотрели на нее любовно. Да и сама Маша показалась Петру Алексеевичу серьезной, мыслящей. «Вот кому надо дать «запретную» книжечку», — подумал он.

— Что же ты, Маша, при таких талантах до сих пор не вышла замуж? — спросил Алексеев, чтобы завязать знакомство.

— Не хотця. Мужик ошшо драться станет. Я, мол, мужик, а ты што — баба! А так я сама себе барыня-сударыня, никому не обязанная. Хочу роблю, хочу песни играю.

Алексеев едва удержался от смеха. Первый человек, которому он хотел доверить тайное слово, девушка, которую он хотел распропагандировать, и та оказалась переодетой студенткой! Алексеев услышал это в ее выдуманной народной речи, увидел это в ее тонких пальцах, привыкших к

скрипке или роялю, понял это и по уважению, с каким относились к ней деревенские девушки.

— Ты грамотна, Маша? — спросил Алексеев, чтобы проверить свою догадку.

— Маненько учила. По печатному только. — Вдруг она решительно сказала своим товаркам. — Буде, наговорились!

Алексеев подвел Машу к своему товару:

— Выбирай, Маша, что хочешь, задешево отдам! — Это он сказал в полный голос, а шепотом добавил: — Все у тебя хорошо получается, только с языком неувязка.

Маша выпрямилась, строго посмотрела на Алексеева:

— Ты о чем баешь?

— Не сердись, Маша: одного мы с тобой поля ягоды.

Ее лицо залилось румянцем.

— И ты? — спросила она удивленно.

— И я. Ты в качестве кого проживаешь?

— Горничная у подруги. Она помещица.

— Довольна своей работой?

— Очень! Крестьяне уже о стачке стали поговаривать.

Подошли подружки, окружили Машу.

— Как же так, Маша, — сказал Алексеев укоризненно. — Ничего у меня не купишь?

Приземистая девушка с тугой рыжей косой выбрала золотистую ленту, сухо спросила: «Сколько?» — и, заплатив за нее, подала Маше:

— Будь золотко, возьми на память!

Алексеев позавидовал Маше: уж очень пришлась она по сердцу, если крестьянская девушка на свои деньги покупает для нее ленту!

Деревни, села, базары, ярмарки. С детской непосредственностью окунулся Петр Алексеевич в мелочную, неторопливую деревенскую жизнь — он точно вернулся в свое прошлое.

После двух недель «хождения» Алексеев убедился, что нет уже той деревни, которая частенько грезилась ему в душных мастерских Москвы и Петербурга. Старый уклад рухнул, а новый еще не создан: и помещик, и становой, и мужик только еще приспособляются друг к другу. Помещик нервничает, становой хитрит, а мужик выжидает: он ждет передела земли. Сунешься к мужику с книжкой о царе, а он тут же с вопросом:

— Когда манифест будет?

В деревне Нелидово Алексеев зашел в кузницу. Кузнец бил молотом по раскаленному брусу, разбрызгивая белые искры, а за его спиной шел спор.

Собственно, спора и не было. Невзрачный мужичонка волновался, говорил захлеб, а тот, к кому он обращался, стоял спокойно, заинтересованно следя за работой кузнеца.

— Есть у тебя сердце или нет?!

— Отстань!

Увидев чужого человека, остановившегося в распахнутых дверях, мужичонка обрадовался:

— Спросим чужака! Филипп Степанович, спросим чужака!

— Отстань!

— Какой я чужак? — добродушно сказал Алексеев, стаскивая короб с плеча. — Сосед я, из Новинской.

Филипп Степанович лениво повернул к Алексееву свое бородатое лицо. Кузнец бросил брус в кадку — вода в кадке зашипела.

— Прохор! — схватил мужичонка кузнеца за руку. — Христом-богом прошу, наладь мне косу! Уже задуло с заката, того гляди дождя нагонит, а я еще с ржицей не управился. Прохор, христом-богом молю! Филипп Степанович маленько подождет — ведь он рессору в запас ладит.

— Чье вино, того и песни, — как-то безнадежно ответил кузнец, беря в руки щипцы.

— Прохор! Филипп Степанович!

Алексеев решил вмешаться.

— Ну и дела! — весело сказал он. — Мужику косить нечем, а кузнец рессору про запас кует. Филипп Степанович, по бляхе вижу, что ты сотский, тебе бы правду блюсти следовало, а ты своих обижаешь. Нехорошо, Филипп Степанович! Повременил бы ты со своей рессорой.

Филипп Степанович подошел к Алексееву.

— Ты кто будешь?

— Сказал тебе, из Новинской.

— Паспорт есть?

— Есть.

— Тогда топай с богом. А в чужие дела не мешайся.

— Филипп Степанович, христом-богом молю! — опять запричитал мужичонка. — Упущу нынешний день, не наверстаю!

Филипп Степанович отмахнулся от мужичонки.

— Ты чего сидишь? — прикрикнул он на Алексеева. — Сказано тебе, убирайся!

— А мне и здесь хорошо, — издевательски ответил Алексеев. — Посижу, полюбуюсь, как ты, толстопузый, народ обижаешь. Мошна, знать, у тебя большая, правишь тут, словно царь.

Филипп Степанович бросился к Алексееву с занесенным кулаком.

Алексеев успел вскочить на ноги и, схватив сотского в обхват, понес его к горну.

Тут случилось такое, чего Алексеев объяснить не смог. На него накнулись и кузнец и мужичонка. Они освободили сотского и так избili Петра Алексеевича, что он с трудом добрался до ближнего перелеска.

Новинская. Дома тоскливо. Ни деда, ни бабушки — померли; дядья и тетки разбрелись, разъехались. Отец где-то под Гжатском. По хозяйству делать нечего: после разделов и переделов осталось у Алексеевых полдесятины пашни. Петр в два дня справился с полевыми работами.

Ухабистая дорога, голые дворы — все как было, ничего не изменилось, только тише стало в деревне, народу меньше. Ни дружков, ни приятелей — разбрелись по белу свету. Мать стала еще суровее, работает со злинкой, словно кому-то в укор. Она стала суше и телом и сердцем.

Однажды она подсела к Петру и тепло спросила:

— Скушно тебе, сынок?

— Скушно.

— Женился бы.

— А я собираюсь.

— Высмотрел кого? Не Поликарпову ли дочку?

— Нет, мать, не Поликарпову дочку. В Питере у меня невеста. Она учительница.

— Из благородных? Или нашего сословия?

— Отец в генеральском звании.

— И за тебя идет?

— А я чем нехорош?

— Не тех кровей.

— Ей человек важен, а не каких он кровей. Она хорошая, очень хорошая!

— И за тебя идет?

— Что ты, мать, все сомневаешься! Горбатый я или чахоточный? Почему ей не пойти за меня?

— Не ровня ты ей, сынок. У нас все свою цену имеет: курица стоит двенадцать копеек, а корова двадцать, а то и все двадцать пять рублей. Так и люди: ей одна цена, тебе другая. Оттого и спрашиваю: за жар-птицей погонишься, только руки обожжешь.

Спорить не имело смысла.

Но этот разговор растревожил Петра Алексеева: его потянуло обратно в Питер. Да вот задерживает Пафнутий Николаев. Занятный парень! Он

работал в Москве ткачом.

Парень грамотный, много читает, но все эти «Бовы-королевицы» его уже не удовлетворяют: он ищет других книг. Пафнутий Николаев прилепился к Алексееву.

— Научи, — приставал он. — Научи меня жить.

Исподволь, осторожно стал Алексей говорить Пафнутию о рабочих кружках, о книжках, в которых пишут правду о жизни, рассказал о людях, которые посвятили себя народному делу.

Пафнутий Николаев с жадностью поглощал слова Алексева.

Дал ему Петр Алексева одну книжку, другую. Пафнутий их прочитал в один присест и загрустил.

— Петр, в твоих книжках действительно правду пишут. Но как сделать, чтобы эта правда к народу дошла? Чтобы она в каждой избе в красном углу висела?

— Попадешь в Москву, в кружок поступишь, и там тебя научат, как правду распространять.

— А где я этот кружок найду?

— Поищешь — найдешь...

Куда было деваться русской женщине, если она хотела получить высшее образование, чтобы в качестве врача или агронома зарабатывать на хлеб насущный, чтобы не зависеть от мужа или семьи? Русские университеты женщин не принимали. Только за границу! Главным образом в Цюрих — этот швейцарский город в то время считался «средоточием мысли и свободы».

Цюрих — город тихий, с узкими улицами, готическими башнями и крепостными стенами, оставшимися от средневековья.

Все в Цюрихе располагало к учебе: много книжных лавок, много библиотек, много свободного времени; после десяти часов вечера замирала уличная жизнь и волей-неволей приходилось сидеть дома за зелеными жалюзи.

Но жить в Цюрихе и не ощущать влияния политической эмиграции было так же невозможно, как не слышать запаха хвои в сосновом лесу. Там Лавров выпускал свой журнал «Вперед», там анархист Бакунин шумно воевал с марксистами, там неистовствовал якобинец Ткачев и в своем

журнале «Набат» громил и Лаврова и Бакунина.

В пансионе мадам Фриче жили десять девушек из России. Пансион считался дорогим. Навощенные полы, бархатные портьеры, тяжелая мебель, горничные в белых наколках, да и сама мадам Фриче — длинная, тонкая — с утра до отхода ко сну была одета так, словно с минуты на минуту ждала визита президента республики: черное платье со шлейфом, черепаховый лорнет на золотой цепочке. Ее белые волосы ниспадали на плечи искусно завитыми локонами.

Мадам Фриче долго присматривалась к своим пансионеркам. Лидия Фигнер — куколка: крохотный рот, синие глаза, ресницы длинные, фигурка гибкая. Александра Хоржевская то озорная, как мальчишка, то вдруг сложит ручки и посмотрит на тебя загадочным взглядом Монны Лизы. Бетя Каминская — глаза грустные, рот скорбный, а сердце золотое: зимою подарила прачке свое единственное пальто. А Варвара Александрова! Беленькая, хохотунья, не ходит, а подпрыгивает и всем шоколадки предлагает. Софья Бардина — лоб большой, глаза строгие и мудра — Руссо в юбке! Три сестры Субботины — розовощекие, пышноволосые — ангелочки! Только вот Ольга Любатович резковата... Не то что ее сестра Вера — тихоня с кротким лицом мадонны.

Девушки богатые, из хорошего общества, а в их повадках есть что-то плебейское, что-то такое, что претит мадам Фриче. Одеваются у дешевых портних; водятся с бородатыми, похожими на шиллеровских разбойников молодыми людьми и ведут с ними шумные споры; они работают в редакции какого-то никому не известного журнала «Впериоть» и работают в качестве... наборщиц. Правда, бесплатно, из филантропических побуждений, но разве это занятие для хорошо воспитанных девушек?

Цюрих славится искусством своих вышивальщиц; кто бы ни приезжал в город, первым делом бросается покупать покрывала, занавески, а ее жилицы, богатые и с тонким вкусом девушки, не купили за все время ни одной салфетки, ни одного метра кружев, — они тратят свои деньги на книги. Добро бы на стоящие — покупали бы занятные книжонки Готфрида Келлера или большие, в кожаных переплетах альбомы, в которых так трогательно рассказывают о строгом житие Песталоцци или Цвингли, нет, ее жилицы тратят деньги на какую-то дребедень. Мадам Фриче пробовала читать эти книжонки — тарабарщина! Томас Мор, Фурье, Сен-Симон, Кабэ, Луи Блан, Маркс, Прудон, Лассаль! Читаешь и не понимаешь, о чем они пишут, — о каких-то фалангах или призраках, которые бродят по Европе; книги для меланхоликов, а не для молоденьких девушек.

И разве не плебейство самому чистить себе обувь? Платят за услуги, а

сами чистят свои ботинки.

Девушкам по девятнадцать-двадцать лет. Когда, если не в этом возрасте, посидеть у раскрытого окна и помечтать? Когда, если не в этом возрасте, погулять при луне с молодым человеком, даже под руку, если у молодого человека серьезные намерения? А ее девушки и в слякотную осень и в чудесные весенние вечера бегают по каким-то диспутам или сидят дома и читают вслух этих Бланов, Марксов, Сен-Симонов!

Нет, не понимала мадам Фриче своих жилищ.

Девушек из пансиона мадам Фриче звали в Цюрихе «фричами». Они приехали в Цюрих учиться: Бардина — на сельскохозяйственный факультет, остальные — на медицинский; но, кроме тяги к науке, они вывезли из России и ноющее чувство виноватости, чувство, которое в то время ощущал любой честный русский интеллигент, — виноватость перед обездоленным народом.

С годами под влиянием книг, бесед, в обстановке все возрастающей революционной активности среди молодых людей чувство виноватости усиливалось, и появилась потребность сблизиться с народом, подать ему руку, вытянуть его из беды. Все, что прежде наполняло их жизнь и делало ее по-своему счастливой, сразу показалось мелким, ничтожным.

В Цюрихе окрепли их мечты, оформились, обогатились, — и вот они уже, объединившись в кружок, готовятся к труду для народа: к труду благородному и подвижническому.

«Фричи» выработали устав для своего кружка. Устав был почти копией с устава любой секции Интернационала, но от себя, от своей готовности к труду без удобств и без личной жизни «фричи» внесли в свой устав пункт о... безбрачии.

В июльский вечер 1873 года, когда сквозь распахнутые окна вливался в комнату неумолчный шум озера, все «фричи» сидели вокруг стола. Одна Ольга шагала по комнате широкими, мужскими шагами, и ее короткие волосы — густые и прямые — разлетались веером. Шагая, Ольга Любатович говорила резко, крикливо:

— Чепуха! Противоречие! Плещеев путаник! Христосик! Что он предлагает?

Провозглашать любви ученье
Мы будем нищим, богачам!
И за него снесем гоненье,
Простив озлобленным врагам!

Чушь! Церковная проповедь! Нищим нужно провозглашать не любовь, а ненависть! А богачам нужно говорить не о любви, а о том, что их черствые сердца не знают любви. Что поэт дальше предлагает? «Ты, Ольга Любатович, если будешь провозглашать любовь, должна терпеть гоненье, но своих озлобленных врагов ты должна простить». Ерунда! Ольга Любатович не желает стать христосиком!

Спор шел о стихотворении Плещеева, напечатанном в журнале Лаврова «Вперед!».

Все девушки следили за шагавшей по комнате подругой. В словах, в интонации некрасивой и неуклюжей Ольги Любатович слышалась нетерпимость фанатика. На лицах «фричей» можно было прочесть их отношение к словам Ольги. Ее сестра, Вера, одобрительно покачивала головой; Бардина смотрела спокойно, пристально; Бетя Каминская — в раздумье, словно про себя увязывала высказывания Ольги Любатович со своими мыслями; Хоржевская лукаво улыбалась; Варвара Александрова уронила на грудь беленькую головку, точно ей стыдно было за резкость подруги: все три Субботины сидели на диване в обнимку и смотрели на Ольгу грустным и осуждающим взглядом. Одна только Лидия Фигнер глядела в окно, и лицо ее было просто хорошенькое — оно ничего не выражало.

— Это не может стать нашей программой. Это не должно стать нашей программой! — энергично заключила Ольга Любатович, потряхнув головой.

— Больше возражений у тебя нет? — спокойно спросила Софья Бардина.

— Нет! И этого хватает!

— Тогда я скажу, — начала Бардина. — Стихотворение вообще не может служить программой для революционного кружка. Но Плещеев, по моему, высказал в этом стихотворении весьма ценную мысль. У нас очень много пишут об экономике и политике, а вот Плещеев предупреждает нас: не забудьте, господа, что и нравственный идеал должен освещать ваш путь. Это, Ольга, ты проглядела. А между тем нравственный идеал — это солнце, которое разгоняет тьму. Мы должны словом, делом и всем образом своей жизни расположить к себе не только друзей, но и своих врагов. Мы должны... Войдите! — закончила она неожиданно, услышав стук в дверь.

В комнату вошла Вера Николаевна Фигнер, сестра Лидии. Такая же красивая, такая же холодно-сдержанная, как и Лидия. Вера Николаевна была старше всех «фричей» — ей уже шел двадцать второй год; и хотя она была сокурсницей всех медичек, но «фричи» относились к ней с настороженностью; в этом повинен был муж Веры Николаевны —

мелочный и консервативный Филиппов.

Вера Николаевна поняла, что ее приход не ко времени, что из-за нее прекратился серьезный разговор.

— Простите, — сказала она низким, грудным, певучим голосом, остановившись у двери. — Видно, помешала.

Бардина поднялась навстречу госте.

— Что за китайские церемонии? — Она взяла Веру Николаевну под руку, подвела к столу. — Садитесь на мое место, а я пойду распоряжусь насчет чая.

— Не надо, Софья Илларионовна. Я пришла к вам с очень скверной новостью.

Все, кроме Лидии Фигнер, вскочили с мест и как-то сразу перегруппировались. Сестры Субботины встали рядом с Бардиной, словно «скверная новость» должна ее касаться; Хоржевская по-мальчишески выдвинула вперед правую ногу, точно готовясь к драке; обе Любатович насупленно глядели на Веру Николаевну; беленькая Варвара обняла за талию Бетю Каминскую, как бы прячась за ее спиной. А Лидия Фигнер отвела взгляд от окна, в ее глазах вспыхнуло беспокойство.

— Какую такую скверную новость вы нам принесли? — спокойно спросила Бардина.

— Нам с вами предлагают покинуть Цюрих.

— Кто предлагает? — резко воскликнула Ольга Любатович.

— Наше милое русское правительство.

— Чушь!

— Ольга, — мягко сказала Бардина, — ты бы разрешила Вере Николаевне рассказать. Пожалуйста, Вера Николаевна, садитесь с нами.

— Принимаете меня в свой кружок? — с неожиданной взволнованностью спросила Вера Николаевна.

Вопрос озадачил Бардину. Она взглянула на Бетю Каминскую, перевела взгляд на Ольгу Любатович и опять вскинула глаза на Веру Николаевну; у той уже холодное, светски вежливое лицо.

— Вы бы сняли перчатки, шляпку, — добродушно промолвила Бардина, — а то в самом деле: пришла дама, приятная во всех отношениях, к дамам просто приятным.

— Только не для того, чтобы поговорить о Чичикове, — поддержала Вера Николаевна насмешливый тон Бардиной, — а о бедненьких студентках из России. Нас, девочки, выгоняют из прекрасного города Цюриха.

В флигельном тоне Веры Николаевны, всегда такой вежливо-

сдержанной, Бардина услышала тревогу.

— Наше милое правительство, видите, опасается, как бы цюрихский воздух не повредил нам.

— Вы бы все-таки рассказали поподробнее, — попросила Каминская.

Вера Николаевна села, стянула перчатку с правой руки.

— Филиппов получил из Петербурга копию правительственного указа. Всем студентам предлагается немедленно покинуть Цюрих. В случае слушания, так сказано в указе, окончившие цюрихский университет не будут допущены к сдаче государственных экзаменов.

— И только? — облегченно вздохнув, спросила Бардина.

— Мало? — удивилась Вера Николаевна.

— Не мало и не много, — ответила Бардина. — Просто ничего. Холостой выстрел.

— Вам так легко расстаться с Цюрихом?

— Приходится.

— Странно...

— Ничего тут странного нет, Вера Николаевна. Перейдем в другой университет: в Берн, в Женеву, в Париж, но и это неважно.

— Почему?

Бардина давно присматривалась к старшей Фигнер. Что-то мужественное светилось в глазах Веры Николаевны, даже ее холодная сдержанность казалась Бардиной маской, за которой скрывается страстная натура. В свой кружок «фричи» не пускали Веру Николаевну из-за Филиппова, которого все они недолюбливали. Но сейчас, под впечатлением ли вопроса: «Принимаете меня в свой кружок?», под впечатлением ли действительно «скверной новости», когда вдруг сердце сжалось: «А не распадется ли наш кружок?» — Бардина решила быть откровенной с Верой Николаевной.

Она уселась, положила свою руку на руку Веры Николаевны.

— Я объясню вам, почему указ нашего милого, как вы выразились, правительства ни на меня, ни на моих подруг не произвел большого впечатления. Вера Николаевна, в наших мыслях произошел переворот: то, что прежде было для нас целью, мало-помалу превратилось в средство. Деятельность медика или агронома потеряла в наших глазах смысл. Прежде мы думали облегчить страдания народа. Потом поняли, что это филантропия, паллиатив, заплатка на рваном платье. Не лечить симптомы болезни нужно, а устранить причины, вызвавшие болезнь. — Бардина застенчиво улыбнулась. — Слышите, Вера Николаевна, как я научилась говорить по-докторски?

— Продолжайте, пожалуйста, это очень интересно.

Бардина окинула быстрым взглядом подруг — на их лицах она прочитала: «Продолжай».

— А знаете, Вера Николаевна, я была уверена, что вам будет интересно. Больше скажу, я уверена, что вы давно ждете такого разговора. Или ошибаюсь?

Вера Николаевна ничего не ответила: она сжала руку Бардиной. Это молчаливое признание растрогало Бардину. Она погладила руку Веры Николаевны и, склонив к ней свою курчавую головку, тихо продолжала:

— Лечить надо болезнь, основное зло, а основное зло заключается в существующих экономических отношениях. Ничтожное меньшинство владеет всеми орудиями производства, а остальная часть народа, составляющая громадное большинство, вынуждена продавать труд своих рук и получать за это лишь небольшую часть того, что создается их трудом. Вот, милая Вера Николаевна, причина, вызвавшая болезнь. И эту причину надо устранить. Нужно изъять орудия производства из рук меньшинства и передать их народу. Вот, Вера Николаевна, наша цель.

— Что вы собираетесь делать?

Прямой, деловой вопрос Веры Николаевны захватил врасплох Софью Бардину — она замялась. Ведь она-то сама еще не знала, как за дело приняться.

Вместо Бардиной ответила Ольга Любатович:

— Идти в народ! Пропагандировать!

— Общо, — тихо промолвила Вера Николаевна. — Нам надо знать, куда идти, как пропагандировать.

— Вы сказали «нам»?

— Да, Софья Илларионовна, нам. Я давно «ваша», хотя вы меня в свой кружок не пускали. — Она поднялась, немного склонив голову. — А вы, девочки, признаете меня своей?

За всех ответила беленькая Александрова:

— Признаем!

И от этого ответа сразу улетучилась холодность Веры Николаевны. Ее лицо потеплело, взгляд стал неустойчивым, рассеянным, рябь прошла от глаз к губам, рука дрожала.

— Спасибо вам, девочки, а вам, Софья Илларионовна, тройное спасибо за доверие. — Она прижала к себе Бардину и поцеловала ее в губы.

Лидия Фигнер подошла к сестре, обняла ее за талию и спросила певучим, капризным голосом:

— А как с твоей вечной бухгалтерией?

«Фричи» поняли, о чем спрашивает Лидия. Вера Николаевна была умна, образованна, была, что называется, передовой женщиной, но чересчур рассудительной, и эта ее умственная сухость всегда раздражала «фричей».

— Ты не права, Лидуша, — в раздумье сказала Бардина. — И в революции нужна бухгалтерия. Ведь верно, девочки: устав мы сочинили, десятки раз его обсуждали, а вот спросила Вера Николаевна, куда идти агитировать, как пропагандировать, — и мы не смогли ответить. Грустно это, девочки! Грустно, когда приходится неожиданно сворачивать с прямой дороги, чтобы нехожеными тропами направиться к новой цели, но еще грустнее, когда сама цель вдруг покажется неясной, зыбкой, как земля в лунную ночь.

«Фричи» уехали из Цюриха: кто в Париж, кто в Берн. И ровно через год, в июле 1874 года, большая часть кружка собралась в Женеве.

Девушки сидели в деревянном домике на Шмэн де Каруж. Окна выходили на озеро: виден был широкий мост, восьмигранник острова Руссо б его высокими тополями, две стрельчатые башни Ратуши, дальние горы. Где-то рядом, словно под самым окном кто-то пел:

В лесу то тут, то там
Розочка цветет...

И каждую строфу длинной песни певец заканчивал звонким, как эхо в горах, припевом!

Ю айсса!
Трара!

На круглом столе стоит вазочка с печеньем, блюдо с аппетитно приготовленными бутербродами, в серебристой лодочке — маленькие шоколадки с коричневыми коровками на обертках; в черном лакированном ящичке — сигареты.

Вокруг стола расставлены стулья, но на них никто не сидит. Все девушки стоят у окна, смотрят на дорогу. Они одеты скромно: неизменные белые воротнички, легкие блузки. И все же чувствуется, что сегодня они хотели принарядиться: Варвара Александрова перехватила свои густые волосы широкой лентой; Евгения Субботина заколола воротничок розовой

камеей; Александра Хоржевская как-то по-особому отгладила воротничок, и он загибается уголками, как у парижских художников; Вера Любатович — эта «монашка», как ее звали в кружке, и та украсила себя ниткой янтарных бус. Только Софья Бардина и Бетя Каминская словно нарочито оделись в самое затрапезное.

Девушки ждали гостей: трех юношей-студентов из России. Они познакомились с ними в Париже на лекции профессора Клода Бернара. Сначала шли расспросы, поиски общих знакомых, потом недомолвки, намеки, наконец — откровенный разговор. В России — трагично: провал за провалом, аресты косят революционеров, как град молодой колос. Нужна смена!

Оказалось, единомышленники!

Бардина пригласила их в Женеву: нельзя ли объединиться, нельзя ли работать рука об руку, нельзя ли слить кружок «фричей» с кружком «кавказцев», как юноши называли свой кружок, — ведь цель у них одна.

Вот гости подошли к дому, ищут табличку с номером.

Бардина громко сказала:

— Здесь! Входите!

В комнату они вошли гуськом: сначала Иван Джабадари — приземистый, очень подвижной юноша; за ним Михаил Чикоидзе, крупный, по-военному подтянутый, с густой шапкой волос; последний — Александр Цицианов, стройный, с яркими губами и в дымчатых очках. Все трое были смуглы, черны.

Чикоидзе и Цицианов, войдя в комнату, растерялись, точно не ожидали встретить такое большое общество; Джабадари вел себя преувеличенно шумно, подчеркивая свои права старого знакомого.

И хорошо, что Джабадари оказался таким немного развязным, девушек смущала солдатская выправка Чикоидзе (он был юнкером артиллерийского училища), смущали его глаза — упрямо, неотвязно устремленные в лицо собеседника, смущали дымчатые очки Цицианова и то, как он, понутив голову, уселся в угол.

Джабадари сразу завладел разговором. У него был приятный, густой голос. Он говорил быстро, склоняясь то к одному, то к другому, усиленно помогал себе руками и часто спрашивал: «Понятно?», хотя говорил о понятных вещах. Он рассказал, каких трудов им стоило добраться до Парижа, как он и Чикоидзе по приезду в Париж нанялись на работу в небольшую кузницу, чтобы поближе познакомиться с французскими рабочими.

— Покажи, Миша, свои мозоли!

Чикоидзе нехотя протянул руки.

— А у меня, посмотрите, руки потомственного пролетария. Понятно?

Джабадари рассказал, как ездил к Тургеневу и, к сожалению, не застал писателя дома, как ездил к Бакунину — и опять же неудачно, как ездил к Ткачеву...

Бардина с Каминской переглянулись: им не понравилось это «я ездил», «я говорил», но в их взглядах, кроме осуждения, было еще и другое: «попытаемся».

Незаметно Джабадари перешел к рассказу о России. Опять замелькали фамилии профессоров: Грубер, Бородин, Цион, Венгеров, и опять «я ездил», «я говорил».

И вдруг заговорил он о главном:

— Члены нашего кружка решили бросить университет. Решили отдаться целиком социалистической пропаганде. Понятно?

— Что вы считаете основой для будущей своей работы? — спросила Бардина. — Как вы мыслите себе руководство работой?

— Основа? Крестьянство — вот основа. Но работать сначала мы должны среди городских рабочих. Их-то мы должны широко вовлекать в нашу работу. Когда мы этих рабочих распропагандируем, они сами явятся проводниками социалистических и революционных идей среди крестьянства. Народ ждет призыва.

Он готов к бунту. По всей России рассыпан порох. Нужна спичка, чтобы все это запылало! Теперь скажу несколько слов о руководстве. Мы создали администрацию, но не постоянную, а сменную: каждый месяц будем выбирать в администрацию новых членов. И администрация не должна сидеть в Москве или Петербурге. В провинции! Ближе к деревне! Ведь цель, наша — создать свободную федерацию свободных общин. — Тут он повернулся к Чикоидзе. — Миша, я верно сформулировал?

— Да.

— А ты, Саша, как думаешь? Я сказал основное?

— Да, — подтвердил Цицианов.

Наступила тишина.

Джабадари обрушил на «фричей» лавину новых перспектив; и, хотя эти перспективы были созвучны им, находились в ладу с их собственными планами, все же девушки чувствовали себя неловко: нет, не этой дорогой они намеревались идти.

Юноши это поняли. Первым встал Чикоидзе:

— Мы и не ждали немедленного ответа. У вас свой устав, свои планы. Подумайте. И если разрешите, зайдем завтра.

Поднялась и Софья Бардина. Она сказала тихо:

— Видите, господа, мы о многом иначе думаем. Мы считаем, что народ к революции не подготовлен. Его еще надо готовить — для этого нужна длительная пропаганда. Мы считаем, что мало спички, чтобы вызвать революцию. Бакунин ошибается. И вообще в споре Бакунина с Лавровым мы не на стороне Бакунина. Поймите, господа, я сейчас не вступаю с вами в спор, я говорю это только для того, чтобы и вы подумали, чтобы и вы могли подготовиться к завтрашнему разговору. Мы, например, считаем, что хождение в народ — затея бесцельная. Идти нужно к рабочим на фабрики, нужно самому за станок становиться, жить одной жизнью с рабочими.

— Нужна организация! — подхватила Ольга Любатович.

— И организация нужна, — повторила Бардина. — Если не удастся создать всероссийскую организацию,

то, во всяком случае, необходимо на первых порах охватить главные индустриальные центры.

— Господа! — взволновался Джабадари, вскакивая со своего стула. — И я не все сказал. Конечно, будут у нас разногласия! Но мы постараемся сблизить наши уставы, найти приемлемые для всех нас формулировки. Ведь цель у нас одна! Понятно? Только прошу вас, пожалуйста, решайте поскорее. В России очень плохо, там ждут нас, ждут наших дел, а может быть, и... нашей жизни.

Последние слова, которые Джабадари произнес почти шепотом, убедили девушек больше, чем вся его длинная напористо-страстная речь.

Если бы можно было раздвинуть время, как раздвигают в театре занавес, и показать «фричам», к чему приведет эта встреча за чайным столом, ужаснулись бы они? Отступились бы они?

Девушки почти ничего не свершили из задуманного — только приступили к работе, и... Бетя Каминская удавилась в тюрьме, Александра Хоржевская повесилась в Сибири, Софья Бардина застрелилась после побега с каторги. Мера страданий не уместилась в их человеческих сердцах. Остальные «фричи», не только те, что сейчас притихли, ушли в свои мысли, но и те, что отсутствуют, облачены в арестантские халаты и бредут... бредут по каторжному пути...

Да, девушки ужаснулись бы, пожалуй, даже отвернули головы от страшного виденья, но не отступились бы: они стремились к подвигу и были внутренне подготовлены к нему.

Тряхнув головой, точно вырвавшись из глубокого раздумья, Софья Бардина сказала поспешно:

— Хорошо, господа. Мы ждем вас завтра.

Юноши ушли.

Александра Хоржевская — эта хорошенькая девушка с повадками озорного мальчишки — глянула на стол и, хлопнув в ладоши, весело воскликнула:

— Ну и хозяйюшки! Даже чая гостям не предложили!

— Оскандалились, — буркнула Ольга Любатович.

— Нехорошо получилось, — грустно промолвила Каминская.

— Завтра поправим, — улыбнулась Бардина. — А теперь, девочки, давайте поговорим.

Юноши пришли и завтра и послезавтра.

Обо всем договорились: решили объединиться.

Джабадари выехал в Россию: с деньгами, которые дала Евгения Субботина, с транспортом революционной литературы.

«Фричи» приедут, скоро приедут.

Подъезжая к Петербургу, Алексеев вдруг забеспокоился: в городе ли товарищи?

Он вышел на привокзальную площадь. Раннее утро. Тишина. Дворники подметают улицы. Редкие пешеходы. Городовой в белой рубахе стоит посреди площади недвижимый, как памятник.

Квартиры у Петра Алексеевича не было, к знакомым — далеко: надо дожидаться линейки. Но ждать Алексеев не мог: его обуяла потребность действовать.

Он пустился пешком на Петроградскую сторону. Открываются магазины. Неожиданно для самого себя Петр Алексеевич зашел в первый же магазин и купил белую рубаху с ярким шитьем по вороту, а к ней тонкий, из крученого шелка пояс.

Дальнейшие поступки он уже совершал обдуманно: вымылся в бане, постригся, укоротил немного бороду; там же, в бане, почистил платье, надел новую рубаху и с крохотным свертком, аккуратно перевязанным, отправился на Монетную улицу.

Коммуна помещалась на втором этаже. Подойдя к дому, как обычно, с противоположного тротуара, Алексеев почувствовал недоброе. Все окна затянуты тяжелыми синими портьерами, а в крайнем окне, где жила

Прасковья с братом, свисает с форточки черный плюшевый медвежонок. И портьеры, и плюшевый медвежонок, и даже закрытые на ночь окна убедили Петра Алексеевича, что квартира переменила хозяев.

Радостное возбуждение, которое жило в Алексееве от Новинской до Петербурга, то возбуждение, которое гнало его через весь город, сменилось тревогой: что с Прасковьей? Куда она переехала? И хотя Алексеев убеждал себя, что нет причин для тревоги, что неугомонный Василий Великий, по всей вероятности, подыскал лучшую квартиру для коммуны, все же сердце болезненно сжималось.

Самое простое было бы узнать у дворника, куда переехали прежние жильцы, но опыт конспиратора удерживал Петра Алексеевича от этого шага.

Он отправился на Лиговку, в Воздвиженскую артель. Артель была смешанная: там проживали рабочие и железнодорожники. Туда часто заходил Василий Великий. Ходил туда и Петр Алексеев — для разговоров, для пропаганды. Среди малоразвитых литовцев выделялся кузнец Василий Грязнов — толковый, любознательный, грамотный. И он, подобно Петру Алексееву, искал «правду жизни», и он, подобно Петру Алексееву, найдя эту правду в учении революционеров, целиком отдал себя пропаганде.

К нему и отправился Петр Алексеевич.

В артели было тихо, сонно: часть рабочих уже ушла на работу, остальные спали после ночной смены.

Спал и Грязнов.

Алексеев решил посидеть на кухне, спокойноенько дожидаться пробуждения кузнеца, но это не удалось: болтливая стряпуха, обрадовавшись неожиданному слушателю, бросила свои дела и замогильным голосом приступила к длинному рассказу о своих печалях. Слушая ее, Алексеев еще острее почувствовал свою собственную беду — и не усидел на месте. Он зашел к Грязнову, разбудил его и, не дожидаясь, чтобы тот пришел в себя после сна, огорошил его резким вопросом:

— Что с коммуной на Монетной?

— Это ты, Петруха? — Грязнов приподнялся, несколько раз провел руками по лицу, словно умывался. — Вернулся, значит. Что с коммуной, спрашиваешь? Нет больше коммуны. Нет ее.

— А народ где?

— Народ? Кто за решеткой, кто успел уйти.

— Василий Великий?

— Ушел. Говорят, за границу перебрался.

— А его сестра?!

— Прасковья Семеновна? За решеткой,

Петр Алексеевич схватил Грязнова за плечи, потрянул его:

— Врешь!

Грязнов тоже был не из слабеньких: резким тычком в грудь он оттолкнул Алексеева от себя и зло сказал:

— Ты чего разбушевался? Выпил, что ли?

— Где Прасковья Семеновна?!

— Сказал тебе: за решеткой.

Понял ли Грязнов, что произошло, или ему просто жаль стало товарища, как-то сразу поблекшего, притихшего, но он придвинулся к Алексееву, обнял его за плечи:

— Ты чего, Петруха, растревожился? Наше с тобой дело такое: сегодня спим на своей кровати, завтра — на тюремных нарах.

— Когда арестовали?

— Прасковью-то Семеновну? На прошлой неделе. Сюда как раз шла. На улице и взяли. Ничего, Петруха, не сделаешь: лютует полиция. Только и слышишь: того забрали, этот скрывается.

В голове Алексеева сумбур: прошлое, настоящее — все спуталось. Перед глазами — лица, в ушах — голоса, обрывки разговора. И все это утомляет, причиняет боль. То пробивается мысль: «Ты ее скоро увидишь», то проплывают перед глазами тюремные стены с зарешеченными окнами, то вспоминаются слова матери о жар-птице...

Петр Алексеев ушел из общежития. На улице, в людской толчее, потекли мысли спокойной чередой: подержат Прасковью Семеновну месяц, два, пусть даже год, два, но все же отпустят на свободу.

Солнце уже клонилось к закату, когда Алексеев подошел к дому № 18 7-й роты Измайловского полка. Флигелек, в котором жил младший брат Никифор, прятался в глубине двора за каретным сараем.

Никифор красил табуретку.

— Петр! — обрадовался он брату.

— Красоту наводишь?

— Не для себя. Хозяйка просила. — Он отложил кисть, вытер руки. — Давненько тебя не видел. Ты сегодня какой-то нарядный. Не к невесте ли собираешься?

— Собирался. Да вот увели невесту.

— Кто увел?

— Известно кто, лихие люди.

Никифор похлопал брата по плечу.

— Шутишь, Петруха. У тебя-то кто осмелится невесту увести? Небось голову оторвешь.

Петр сел, положил руки на колени.

— Ты прав, Никифор, пошутил. Что у тебя под глазом? Подрался?

— Какое там! Об станок стукнулся. Дрема напала, и... головой хлопнулся.

— А я сегодня из Новинской приехал.

— Неужто домой ездил? Как там? Мать здорова ли?

— Здорова. Весь день хлопочет. Хотя хозяйству грош цена: три курицы да бесхвостый петух.

— Отец деньги присылает?

— Не жалуется мать. А вот на Игнатку обижается: никогда о себе весточки не подаст.

— С него и спросу быть не может. Игнатка! Какой с него спрос? Кого видел в Новинской?

— Пафнутку Николаева помнишь?

— Это косого-то? Как не помнить! В прошлом годе мы с ним на рыбалку ходили.

— Как он? Серьезный человек?

— Ничего. Интересуется.

— Чем?

— Вообще. Любит рассуждать, как живут рабочие в Америке, что их там будто не так прижимают, как у нас. Только, по-моему, он это так — голыша по воде пускает. Больше для умного разговора.

— Не серьезный, значит?

— Почему не серьезный? Все же интересуется. А ты к чему спрашиваешь?

— К слову пришлось. Расскажи, Никифор, как дела у тебя? Много зарабатываешь?

— Может, чайку попьем? — И, не дожидаясь ответа, Никифор, раскрыв дверь, крикнул: — Федуловна! Не остыл самовар?

— Горячий, — прозвучал голос из коридора.

Никифор выбежал из комнаты и вскоре вернулся, неся на вытянутых руках медный самовар.

Поставив самовар на стол, он достал из шкафчика два стакана, каравай и небольшой кусок колбасы.

— Вот мы с тобой и попируем, — сказал Никифор виноватым голосом, чувствуя неловкость за скудное угощение. — Житье наше, сам знаешь, хлебное. Горячая вода есть, а вот сахар и заварку бог подает. — Он разлил

кипяток по стаканам, придвинул к брату хлеб и колбасу. — Неудачный ты день выбрал для гостевания: завтра бы пришел, с получки и винцом побаловались бы.

— У меня, думаешь, гуще? Доля у нас с тобой одна — рабочая.

— Эх, браток, — как-то сразу погрустнел Никифор, — надоела эта рабочая доля! Говорят, каторжникам тяжело, а я думаю, что рабочим тяжелее. Каторжнику выйдет срок — и его на волю отпустят, а рабочему человеку никакого просвета. Как влез в хомут, так до гроба и таскать его будет.

— Есть просвет.

— Где ты его увидел? Задешево продались мы фабриканту, вот в чем беда. А какая у меня сила против фабриканта? Как я могу его заставить платить мне больше?

— Один ты не можешь. Один ты бессилен против фабриканта. А вот когда все рабочие к фабриканту подступятся, тогда он поболеет.

— А разве подговоришь всех? Помнишь, как в деревне сход собирали? До схода крику много, а соберут сход — людей нет. Иван телегу ладит, Петр ушел на рыбалку, а Прохор вовсе в бане парится. Вот и сговоришься с такими!

— Сразу и не сговоришься. Сегодня с Иваном, завтра с Петром, послезавтра с Прохором. На такое дело надо набраться терпения.

— А кто будет сговор вести?

— Про политиков слыхал?

— Слыхал.

— Вот они и ведут этот сговор.

— Хотел бы я такого политика встретить.

— Зачем он тебе, раз ты не веришь в сговор?

— Хочу верить. Понимаешь, браток, хочу верить! Жить тошно! Ни сытости, ни радости.

Петр Алексеевич отрезал себе, кусок хлеба.

— Раз хочешь верить, то и политика встретишь. — Он сделал несколько глотков и, держа стакан на весу, грустно закончил: — Ты прав, Никишка, тошно жить, если не видишь просвета. — Вдруг он поднялся и сказал резко, упрямо: — Ломать надо. Все надо ломать!

— Петя... Что с тобой?

— Ограбили! Сердце вырвали! А я не сдамся. Не сдамся, Никишка!

— Петруша, что с тобой?

Петр Алексеевич опустил на табуретку, подпер голову обеими руками и тихо сказал:

— Устал я, Никифор.

— Может, приляжешь?

Петр Алексеевич прилег, не раздеваясь, и проспал до обеда следующего дня.

Никифора не было дома. Петр умылся, привел себя в порядок и отправился в город: ходил из трактира в трактир, — во все те места, где встречался со студентами, где встречался с рабочими-кружковцами. Знакомых не нашел.

Побрел Петр Алексеевич снова на Лиговку. И на этот раз ему повезло: там он застал двух приятелей — Грачевского и Ивана Жукова. Он кинулся к ним, жал им руки, обнимал, а слова произнести не мог.

У Петра Алексеевича были сложные отношения с обоими. Он уважал интеллигентов, преклонялся перед ними и все же не всех любил. Он убедил себя, что некоторые интеллигенты в своей тяге к мужику преследуют отнюдь не революционную цель: они как бы милостыньку раздают, благотворительностью занимаются. Хитрят с рабочим. Вместо того чтобы просто сказать рабочему человеку: «Вот твой враг, навались на него», — они ведут бесконечные разговоры об «естественном социализме» и уводят рабочих от фабричных дел.

Алексеев не был марксистом, об учении Маркса он знал очень мало, а то, что знал, еще не умел увязывать ни с политическим, ни с экономическим положением в стране. Но в правду марксизма он крепко уверовал: ведь это они, марксисты, сказали в «Коммунистическом манифесте», что пролетарию нечего терять, кроме своих цепей. А вот этой простой правды он не находит в рассуждениях многих интеллигентов.

На собраниях, на беседах, когда вот эти интеллигенты на разные лады расхваливали свой «естественный социализм», Петр Алексеевич хмуро отмалчивался и только один-единственный раз не сдержался: грубо оборвал Грачевского и наговорил ему много дерзостей.

Михаил Федорович Грачевский — этот ученый юноша с беспомощным взглядом близорукого человека — скорбно посмотрел тогда на Алексеева:

— Я прощаю тебе эти оскорбления во имя того дела, которому отдаю свою жизнь.

Петра Алексеевича поразили эти слова — тесно стало в груди, из глаз брызнули слезы. Он хотел извиниться, попросить прощения, но горло словно канатом перехватило. Он подбежал к Грачевскому, обнял его...

И с тех пор, встречаясь с Михаилом Федоровичем, Алексеев мягко пожимает его руку, лишней раз подчеркивая, что все еще считает себя

виноватым перед ним.

С Иваном Жуковым были у Алексеева более простые отношения. Жуков преподавал грамоту литовцам. Это был серьезный, но какой-то скучный, скупой на слова интеллигент. Он делал свое дело буднично, холодно: то ли сам не придавал большого значения своим занятиям с рабочими, то ли убедил себя, что о серьезных вещах надо говорить с холодной сдержанностью.

И оба эти человека — пылкий Грачевский и суховатый Жуков — одинаково обрадовались Петру Алексееву.

— А я, дурень, — взволнованно сказал Алексеев, — вместо того чтобы сюда прийти, по городу рыскал. Где я не был! И хоть бы единого знакомого встретил!

— Кого ты искал? — спросил Жуков.

— Родную душу!

— Родные души теперь под замком сидят или по тайникам прячутся, — скорбно сказал Грачевский.

— Разгром, — уточнил Жуков. — Полный разгром!

После длительного молчания Михаил Федорович Грачевский спросил:

— Как у тебя с работой?

— Еще не знаю...

— К Торнтону тебе нельзя.

Не это интересовало Петра Алексеевича: он сам понимал, что обратно к Торнтону нельзя, что и там может оказаться подлец — выдаст. Он обрадовался Грачевскому и Жукову не потому, что хотел с ними посоветоваться насчет работы, — работу он себе найдет. Его волновало другое: как дальше быть с «делом», неужели все погибло? Его волновало еще и свое, личное: нельзя ли увидеть Прасковью или хотя бы дать ей знать, что он тут, рядом?

— Это ты прав, Михаил Федорович, к Торнтону мне нельзя. Но не обо мне речь. Знаешь, как в деревне? Погорели озимые, мужик не плачет, а перепахивает полюшко и яровое сеет. Как мы будем? Плакать по горелому или примемся перепахивать?

— Конечно, перепахивать! — решительно сказал Грачевский.

— А ты, Жуков, как думаешь?

— Обождать надо.

— Чего?

— Чтобы улеглось немного. Еще дымит на пожарище. Надо дать жару остыть. Я понимаю: не все арестованы. Но народ разбежался. Вот придут в себя, выйдут из тайников, тогда...

— Нет, Жуков, ты не прав. Нас больше, чем тебе кажется. Примемся за работу, и народ появится. Вот вчера говорил мне один ткач: «Жить тошно». И не потому, что голодно живет, а потому, что просвете! не видит. Покажи ты этому рабочему просвет, и он в огонь пойдет. А таких рабочих, что ищут выхода из нужды, очень много. Их и искать не придется! Они сами к нам придут!

Алексеев говорил горячо, страстно.

Грачевский вдруг улыбнулся — наивно, стеснительно. Он прижался плечом к Алексееву:

— Не слушай Ивана. Это он нарочно страхи выдумал, хочет тебя проверить.

— Меня? Проверить?! — вспылил Алексеев.

— Успокойся, бешеный, — мягко сказал Михаил Фёдорович. — Садись. Я неудачно выразился. Не проверить, а узнать, не испугался ли ты арестов. Ты долго отсутствовал, обстановки не знаешь. А обстановка самая безрадостная. У нас тут полнейший разгром. Пустота образовалась. Мы с Иваном уже пятый раз сходимся, все ждем, авось кто-нибудь подойдет. И никто не приходит. Вот ты первый явился. Что у тебя на душе, не знаем. Потому-то так глупо и начался наш разговор. — Грачевский поднялся, зашагал по комнате. — Ты прав, Петр, надо немедленно приняться за работу. Нас мало, верно, но народ появится. С чего мы должны начать? Помоему, со здешней артели.

Было уже темно, когда Петр Алексеевич с Грачевским вышли на улицу. Они шли молча: одна улица, другая. Вдруг Грачевский взял Петра Алексеевича под руку:

— Ты ни о чем не хотел меня спросить?

Алексеева обрадовала чуткость товарища: ведь именно он, Михаил Федорович, один из тех, которые знали об отношениях Алексеева с Прасковьей Семеновной.

— Хотел. Скажи мне, Михаил Федорович...

— Помолчи. Я тебе все скажу. Ей ничего не угрожает. У нее ничего — это я хорошо знаю, — у нее ничего не было. Сидит она в Литейной части. Помнишь Ваську, мальчонку, который жил в коммуне?

— Помню.

— Я его разыскал. Два раза в неделю носит он ей передачи, будто своей тетке.

— Я буду носить!

— Не надо этого делать. Ее-то ты не увидишь, а шпик за тобой увяжется. Согласен?

— Согласен, — покорно ответил Алексеев.

— Василий Семенович в Петербурге. Уляжется немного, мы с тобой к нему сходим. Он, кстати, только вчера спрашивал, не вернулся ли ты. И вот еще: будь осторожен, избегай тех рабочих, что бывали и коммуне. Среди них есть подлец, а кто — пока не знаем. — Он остановился, протянул руку. — Думаю, что больше вопросов у тебя нет.

— Спасибо тебе, Михаил Федорович!

— Будь осторожен, Петр. Кстати, как у тебя с квартирой?

— Буду жить у брата.

— Там надежно?

— Очень.

Еще раз пожали друг другу руки, разошлись.

Бывает, в ясный день наплывает на небо туча, закрывает солнце и в комнате вдруг становится неуютно, сумрачно.

И на жизнь Петра Алексеевича наплыла туча: стало неуютно, сумрачно. Он места себе не находил. Бывал на Монетной, словно все еще надеялся, что в окне покажется лицо Прасковьи, прогуливался перед воротами Литейной части — а вдруг освободят Прасковью?

Агитационной работы становилось все больше и больше. Народ начал приходить в себя после полицейского разгрома, и многие уже искали связи с революционным подпольем.

Из пропагандистов литовской артели всего два человека тесно общались с рабочей массой: ткач Петр Алексеев и кузнец Василий Грязнов. Чтобы расширить круг своей деятельности, Алексеев и Грязнов часто меняли место работы. Поступят на фабрику, сблизятся с рабочими, отберут лучших, организуют кружок, наладят его работу и переходят на другое предприятие.

Петру Алексеевичу стал помогать брат Никифор. Он сразу втянулся в пропагандистскую работу. Сначала он только книжки разносил, выполнял поручения старшего брата, потом стал ходить по трактирам, присматривался к знакомым и заводил разговор о жизни, об извечной рабочей нужде. Никифор находил простые, убедительные слова, — он говорил о том, что знает, чем мучится, о чем мечтает. И тех из своих слушателей, которые искали выхода из тяжелого положения, Никифор знакомил с братом.

Странное дело: чем больше Петр Алексеевич работал, тем светлее становилось у него на душе, — он был убежден, что работает за двоих: за себя и за Прасковью.

Листья на деревьях еще зелены, а уже по-осеннему порывистый ветер

раскачивает ветви. Деревья словно силятся подняться на воздух. Ясно высокое небо.

Бодрой походкой шагает Петр Алексеевич. Он отработал в ткацкой ночную смену, но не чувствует усталости. Его радует ясное небо, его радует и ветер, который несет с моря влажную свежесть.

В эти дни жил Петр Алексеевич на Лиговке, в артели. Он спустился в подвал, хотел уже направиться на кухню — там умывались артельные, — как увидел полоску розового света, выбивающуюся из-под двери его комнаты. Это озадачило и обеспокоило Петра Алексеевича: кто в комнате? Легким, бесшумным шагом он добрался до кухни. Дуняша, стряпуха, раскатывала на столе тесто.

— Кто у меня в комнате?

— Кто? — ворчливо ответила Дуняша. — Так мне и сказали кто! За ночь, поди, три самовара выдули. Ни одной щепки не оставили.

Это успокоило Алексеева; он направился в свою комнату.

Сизо от табачного дыма; солнечный свет с трудом пробивается сквозь дым и сквозь розовое сияние яркой лампы; за столом три человека: Грачевский, Жуков и незнакомый юноша — приземистый, очень подвижной.

— Петр! — обрадовался Грачевский. — Мы тебя ждем! Познакомься с Михайло Петровичем!

У юноши были живые черные глаза. В одно мгновение он успел осмотреть Алексеева с головы до ног, и, протянув руку, сказал приятным гортанным говором:

— Богатырь! Илья Муромец! Понятно?

— Что «понятно»? — недовольно пробурчал Петр Алексеевич.

Он понял, что юноша с восточным обличем и гортанным выговором вовсе не Михайло Петрович, и его обидело, рассердило то, что Грачевский не счел нужным назвать ему настоящую фамилию незнакомца.

Грачевский, прекрасно знавший Алексеева, сразу уловил его настроение.

— Петруха, — сказал он, — садись, и я тебе все объясню. Это Иван Джабадари. Он приехал из-за границы. Привез литературу. За границей слились два кружка. Людей в этих кружках очень много. Они все едут сюда. И вот что Джабадари предлагает...

Лампу потушили, заперли дверь на ключ, и Иван Джабадари приступил к пространному рассказу. Он говорил о прошлом и о будущем, он говорил о своих товарищах по кружку «кавказцев» и о каких-то чудесных девушках — «фричах», он говорил об арестах и о целях

революционной молодежи. Он говорил напористо, горячо, то наклоняясь к одному, то к другому: мелькали имена знаменитых людей, научные формулировки, и часто врывающиеся в его страстную речь наивное словцо «понятно?» придавало бурному повествованию какой-то теплый, интимный характер.

Алексеев слушал внимательно. Он понял не все, о чем говорил Джабадари, — чересчур стремительно! лилась его речь и слишком непоследовательно развивал он свои планы, но Петру Алексеевичу было ясно: появилась, наконец, организация, которая намерена работать среди фабричных, появилась такая организация, о которой он мечтал!

Петр Алексеевич внутренне ликова! балует его судьба! Каждый раз, когда жизнь наносит ему удар, когда он лишается чего-то дорогого, судьба тут же, точно в награду за муки, посылает ему утешение. Прасковья была не только любимой девушкой — она была осуществлением его гордой мечты, она была живым воплощением идеи свободы и счастья. И, похитив у него Прасковью, судьба тут же послала к нему Ивана Джабадари, — жизнь сразу приобрела новый смысл, новое и, пожалуй, более высокое звучание.

— Я пойду в эту организацию. В рабочую организацию! Я буду работать там, куда вы меня пошлете! В любой рабочий центр!

— Я знал, что ты пойдешь с нами, — сказал Грачевский.

А Жуков уточнил:

— Иначе быть и не могло.

Джабадари пожал руку Алексееву:

— Не здесь. Не в Петербурге. Мы переедем в Москву. Понятно? Здесь безлюдье, а в Москве сохранились Лукашевич, Союзов, Гамов. Люди, которые крепко связаны с фабричными! Понятно? Мой план таков: Михаил Федорович, Жуков, Грязнов и ты, Алексеев, переезжают немедленно в Москву. Михаил Федорович и Жуков связываются там с Лукашевичем и Союзовым, ты, Петр Алексеевич, — с фабричным миром, а Грязнов, как кузнец и слесарь, — с железнодорожниками. В начале декабря выеду я, Чикойдзе и Зданович, вслед за нами приедут Софья Бардина, Лидия Фигнер, Бетя Каминская, Субботина, а к рождеству съедутся остальные «фричи» и Цицианов. Понятно?

— Понятно! — ответил Петр Алексеев.

В ноябре Петр Алексеев переехал в Москву; с ним поехал младший брат Никифор.



Бетя Каминская.



Иван Джабадари.



Ольга Любатович.

Случается, что в обычный рабочий день человек просыпается с песней, с улыбкой на устах, с внутренней уверенностью, что его ждет сегодня что-то новое, радостное.

В таком приподнятом настроении находился Петр Алексеевич с первого дня переезда в Москву. Все ладилось у него, все легко устраивалось.

Он приехал в Москву, чтобы обосноваться прочно, на годы, и первые же недели работы убедили его в том, что его расчеты оправдываются.

Петр Алексеевич поступил на небольшую шерстопрядильную фабрику Турне, на Садовнической улице. Рабочих на фабрике было немного, около сотни, но среди них старый знакомец Николай Васильев. Рабочие звали его «голубь». Васильеву было лет тридцать — тридцать два, но выглядел он значительно старше: высокий, сутулый, с длинным морщинистым лицом.

Ничего примечательного во внешнем облике, а заговорит— голос мягкий, с бархатными низкими нотками. А как начнет рассказывать про «царство рабочих людей», весь преображается.

Васильев был ткачом, и не плохим, но свое ремесло он бросил и поступил садовником к фабриканту Турне.

Петр Алексеевич отправился в гости к «голубю». На вопрос Алексеева:

— Почему ты вдруг садовником заделался?

Васильев ответил:

— Не единым хлебом жив человек. Нужно и с народом поговорить, о рабочей нужде потолковать, а за станком, маясь, свободного часа не найдешь.

— Заведут тебя эти разговоры в казенный дом! — неожиданно вмешалась в беседу жена Васильева, Дарья,

Алексеева удивили эти слова. Дарья — крупная, ловкая, с круглым, лоснящимся лицом и влажными глазами — встретила его, как родного, хотя первый раз видела, усадила в красный угол, участливо расспрашивала об отце-матери, приготовила какую-то особую «яишенку» и, накормив его, уселась в сторонке, как бы давая понять: теперь можете поговорить о своих мужских делах. А когда заговорили, вдруг вмешалась.

— А разве плохо жить в казенном доме? — Алексеев хотел обернуть ее слова в шутку. — Генерал-губернатор в казенном доме живет и не жалуется.

Но Дарья шутки не приняла.

— То дворец, — ответила она серьезно. — А тех, что разговоры разговаривают, во дворцы не сажают. Вы человек новый, моего Николая не знаете. У него за всех голова болит. Будто они маленькие, не могут о себе позаботиться? — И вдруг расплакалась. — А я что буду делать без тебя? О всех ты заботишься, всех ты хочешь осчастливить, а обо мне не думаешь. Что я буду без тебя делать?!

— Заладила, — незлобиво ответил Васильев. — Тебе все казенный дом мерещится, а я туда и не собираюсь. На черта мне этот казенный дом! Чем мне тут плохо?

Васильевы жили в садовой сторожке, но ловкие руки Дарьи преобразили сторожку в уютную квартиру. Скатерка на столе, занавески на окнах, медный таз на полочке сияет, как луна в ясную ночь.

— Хорошо у вас тут, — сказал Петр Алексеевич. — И грешно вам, Дарья, думать о казенных домах.

— Все он виноват, — всхлипывая, ответила Дарья. — Живем, сами

видите: и хлебушка вдосталь, и мяско бывает, человек зайдет, голодным не отпустим, чего бога гневить? Так нет же, он все о людях думает, как они-то живут. А люди-то подумают о тебе, когда ты в беду попадешь? Я у людей белье стираю: слышу, о чем говорят. Теперь не так чихнешь — в кутузку потащат. А он все свое — голову под топор кладет.

Спутала Дарья расчеты Петра Алексеевича. Сторожка в саду, местечко укромное. Понравилась ему и Дарья: серьезная, работающая. Думал Алексеев договориться с Николаем Васильевым: под воскресенья собирать у него народ, почитать, побеседовать.

Не получилось: одна всего комната, а Дарья, видать, привыкла вмешиваться в чужие разговоры. Придется по-иному устроиться.

— А ведь твоя Дарья права, — обратился Алексеев к «голубю». — Охота тебе в чужие дела встречать. Голодных много — всех все равно не накормишь, а беду нажить недолго. Зачем тебе это?

Васильев понял маневр Петра Алексеевича.

— Друг называется! — притворился он сердитым. — Пришел в гости, думал — расскажешь, как жил, чего видел. Какое преступление: с народом беседую! Когда за станком стоял, дышать некогда было, не то что разговоры разговаривать. А у садовника какая работа? Дорожки подмел, кусты подрезал. А дальше что? На печи лежать — не тот возраст, читать — не обучен. Дарьюшка или стирает, или к купцам на уборку ходит. С кем мне словцом перекинуться?

— А разве Дарья тебе запрещает? Беседуй, сколько душе угодно. О боге, например, или о том, что зимою холодно. Мало ли о чем можно беседовать. Только о всяких там нуждах — ни-ни-ни! Так я говорю, Дарьюшка?

Верного, преданного друга приобрел Алексеев. Дарья предложила ему перейти к ним на житье:

— Уж как буду заботиться о тебе! И Николаю будет интересно дома сидеть: не станет он по трактирам да по чайным бегать.

— С дорогой бы душой, Дарьюшка, да тесно у вас. Стеснять буду.

— Тогда хоть захаживай ежедневно.

— Вот это с удовольствием.

Николай Васильевич проводил Алексеева до калитки.

— Ловко ты это, — сказал он, смеясь, — купил мою Дарью!

— У меня на нее виды имеются. Вишь, Николай, народ съезжается, придется большую квартиру снимать. Вот твою Дарью за хозяйку и определим.

— Дело!

Снял Петр Алексеев квартиру на Татарской улице. В ней постоянно проживало всего четверо: Алексеев, Джабадари, Чикоидзе и Георгиевский, но бывали ежедневно десятки рабочих. Агитаторы были разбросаны по всей Москве: Грязнов привлекал рабочих в районе Покровки; односельчанин Алексеева — Пафнутий Николаев — в районе Лефортова; брат Петра Алексеева Никифор — в районе Серпуховки; второй брат Алексеева — Влас, которого привлек к пропаганде Никифор, работал в районе Землянки; Николай Васильев — в Садовниках; студент Лукашевич, который нанялся чернорабочим на завод Дангауэра, привлекал народ из района Владимирского шоссе.

В первые же недели Петру Алексееву удалось привлечь к работе Филата Егорова, Семена Агапова и Ивана Баринова, которые вскоре проявили себя прекрасными пропагандистами и вербовщиками.

Метод привлечения в организацию был, если можно так выразиться, двухступенчатый. Сначала агитаторы беседовали с человеком на работе, в чайной, в трактире, потом давали книжку почитать. Если человек проявлял интерес к беседе или прочитанному и внушал доверие, его приглашали на Татарскую улицу. Там уже шел разговор начистоту: о целях революционной организации, о задачах ее членов, о методах борьбы.

Квартира на Татарской, две комнаты, уже была тесна для разросшейся организации. К тому же приехали в Москву «фричи».

Тогда решил Петр Алексеевич осуществить свой давнишний план: он уговорил Дарью снять большую квартиру и держать жильцов-нахлебников. Дарья охотно согласилась: больше простора для ее ловких рук и Николаю незачем будет уходить из дому — собеседники будут под боком.

Петр Алексеевич сам нашел квартиру: в Сыромятниках, в доме Костомарова, сам же подобрал и нахлебников: Джабадари, Чикоидзе, Георгиевского, Лукашевича, Софью Бардину, Бетю Каминскую, Ольгу Любатович.

Семнадцатого января справили новоселье, и Дарьюшка, хотя и выпила только две кружки горячего чая, так расчувствовалась, слыша благородные и «невинные» разговоры за столом, что разревелась и с какой-то умильной восторженностью лепетала:

— Милые вы мои!.. Хорошие вы мои!..

Народ в квартире веселый, общительный. Мужчины работали: уходили рано, приходили поздно. Часто являлись гости — фабричные ребята. И гостям также радовалась Дарья. Они спорили о чем-то, читали, но Дарье и недосуг прислушиваться к их разговорам: надо чаем поить, об ужине заботиться.

А жильцы хоть и простые фабричные девчата, а какие умницы и душевные! Норовят все по хозяйству помогать, да разве Дарья позволит? Пусть отдыхают, пусть наберутся сил, уж очень они тоненькие. Наташа (Ольга Любатович) еще ничего, в теле, а вот Аннушка (Софья Бардина) или Маша (Бетя Каминская), в чем только душа держится. А ведь скоро к месту пристроятся, опять им бедствовать.

Действительно, девушки устраивалась на работу.

Впервые в истории русского революционного движения интеллигентные девушки пошли на фабрику в качестве простых работниц. Нельзя сказать, чтобы «фричи» не волновались, но, во всяком случае, не так, как мужчины. Работу приискал Петр Алексеев на разных фабриках, но прежде чем сказать девушкам о будущем месте их работы, он вместе с Джабадари и Грачевским знакомился с жизнью фабрики: собирали сведения о мастерах, об условиях работы, ходили в «казарму», присматривались к народу.

Первую девушку, Бетю Каминскую, они снаряжаг ли, словно в ссылку или на каторгу. Она должна была выйти на работу в понедельник. В воскресенье Иван Джабадари снял два номера в гостинице: в одной комнате — Бетя Каминская с Евгенией Субботиной. В другой — Джабадари с Грачевским. Они разошлись по номерам сейчас же после обеда: разговор не клеился, все волновались. Евгения Субботина чуть ли не с вечера начала одевать свою подругу; так было им легче справиться со своим волнением.

— Ничего не получится, — сказала Субботина разочарованно.

Бетя Каминская в ситцевом сарафане с пышными рукавами, на шее — стеклянные бусы, на ногах — серые валенки домашней валки.

— Чем ты недовольна?

— Твоими глазами. В них мировая скорбь. Бетя, милая, забудь, что ты дочь мелитопольского банкира! У тебя нет прошлого, у тебя нет причин для мировой скорби. У тебя новая жизнь. Ты теперь солдатка Маша Краснова, днем будешь работать, а ночью стирать единственную рубашу. Но ты счастливая солдатка: зарабатываешь сорок копеек в день! И себя кормишь и в деревню гостинцы посылаешь. Вот это должно быть написано на твоём лице!

Бетя Каминская, когда задумывалась, обхватывала сцепленными руками колено и жмурила глаза. В такой позе сидит она и сейчас.

— Что мне делать? — В вопросе слышится горечь.

— Перевоплотиться. Стать солдаткой Машей Красновой! — Субботина уселась рядом с подругой. — Бетя, ведь это правда: мы с тобой

покончили со своим прошлым. Мы теперь другие, совсем другие! Мы все теперь Маши Красновы...

...В три часа ночи Субботина постучалась к мужчинам. Они не спали, вышли в коридор. Евгения Субботина со свечой в руке стояла, прислонившись к стене.

— Ведите ее, — сказала она шепотом.

Когда Каминская накинула на голову теплый платок, ее подруга расплакалась.

— Почему плачете?

— Ах, господа, как ей будет тяжело!..

— Может, не надо?

— Надо! — решительно заявила Бетя Каминская.

Январская ночь светлая и морозная. Дует пронизывающий ветер. Низко над землей стелется поземка. Москва спит, в редком окне светится огонь.

Они шагают долго. Михаил Грачевский, близорукий, с излишней осторожностью ведет под руку Каминскую.

Тряпичная фабрика Моисеева помещалась на Трубной. У ворот толпились рабочие: входили поодиночке, давая сторожу себя обыскать.

Каминская, когда подошла ее очередь, сделала шаг назад, испугавшись внезапно грубых лап. сторожа, но сразу подобравшись и раскинув в стороны руки, сказала озорно:

— Обыскивай!

Грачевский и Джабадари стояли долго перед воротами. Уже народ прошел, уже прогудел немощный гудок, уже занялось утро, а Грачевский и Джабадари все не уходили. Когда же изрядно продрогли, они вернулись в гостиницу, наспех выпили по стакану чаю и пустились опять к фабрике, купив по дороге связку баранок для Бети Каминской.

И они увидели «Машу Краснову» — раскрасневшуюся, возбужденную, даже веселую.

Этим сообщением они обрадовали Евгению Субботину; она опять заплакала, но на этот раз от радости.

В воскресенье Бетя Каминская пришла в Сыромятники — и не одна: с нею был парень лет восемнадцати, рослый, вежливый. Он явно ухаживал за Бетей. и ей, как все заметили, было это приятно. Парня оставили обедать; он рассказал о своей фабрике, о своих товарищах, а вечером, отпуская его обратно с Каминской, Петр Алексеев снабдил его книжками, а Евгения Субботина дала ему пять аршин ситца для многодетной работницы, о которой парень рассказывал очень трогательно.

Все, что делала Ольга Любатович, она делала порывисто, шумно. Как только дверь закрылась за Бетей Каминской и ее спутником, Ольга вдруг поднялась и резким голосом запела:

Пусть нас по тюрьмам сажают,
Пусть нас пытаются огнем,
Пусть в рудники посылают,
Пусть мы все казни пройдем!

И как ни странно, неожиданный порыв Ольги Любатович нашел отклик у всех, даже у сдержанной Софьи Бардиной. Они подхватили песню:

Если ж погибнуть придется
В тюрьмах и шахтах сырых, —
Дело, друзья, отзовется
На поколениях живых...

У всех на душе было светло, торжественно: опыт удался! Интеллигентные девушки могут стать солдатками Машами Красновыми!

Несколько дней бегал Петр Алексеевич по знакомым ткачам и пристроил всех «фричей»: Бардину, сестер Любатович, Лидию Фигнер, Хоржевскую и Александрову. Но не все удержались на работе. Бардину, по паспорту Анну Зайцеву, вскоре выгнали за ворота: приказчик застал ее ночью за чтением книги в мужской спальне; Лидия Фигнер и Хоржевская вынуждены были сами уйти с фабрики: за ними слишком «горячо» ухаживали мастера; Ольгу Любатович прогнали за то, что хотела перевоспитать управляющего фабрикой; он обратился к ней: «Эй, ты, как тебя зовут?» — на что Ольга ответила насмешливо: «А тебя, грубиян, как зовут?»

Всего два месяца прошло, а какие результаты! Кружки на двадцати фабриках, кружки на Курско-Харьковской железной дороге, кружки в

столярных, слесарных, кузнечных мастерских. Встречи в чайных, в трактирах, ежедневные читки и беседы на квартире в Сыромятниках.

Петр Алексеевич вынужден был бросить работу у Турне — маленькая фабричка, каждый человек на виду, и к тому же Алексеев работал с артелью, где один другого подгоняет. Зимний день короткий, а «настоящее дело» Петр Алексеевич делал только после фабрики. Ходил в чайную, на свидания с новыми людьми, на занятие кружка в Лефортово или на Щипок, на совещания в Сыромятниках. Домой возвращался

Петр Алексеев не раньше полуночи, и то не всегда успевал все дела закончить.

Решил Алексеев перейти на большую фабрику и работать там сдельно, а не в артели. Зарабатывать он будет меньше, зато свободного времени будет у него больше. Старый приятель Терентьев работал ткачом на фабрике Тимашева, туда же он 25 февраля устроил и Петра Алексеева. Алексееву отвели «стан» — закуток в общежитии; он принес свою библиотечку и приступил к пропагандистской работе. Охотников послушать нового ткача было столько, что Петр Алексеевич забросил все свои дела в городе и изо дня в день занимался с тимашевцами. Только в субботу, после работы, отправлялся он на квартиру в Сыромятники.

Организация разрасталась, охватывая почти всю Москву; уже нужен был устав, программа. Собрались в Сыромятниках в начале марта наиболее видные участники: Петр Алексеев, Николай Васильев, Иван Баринов, Филат Егоров, Василий Грязнов, Иван Джабадари, Михаил Чикоидзе, Александр Лукашевич, Иван Жуков, Софья Бардина, Бетя Каминская, Ольга и Вера Любатович, Евгения Субботина, Лидия Фигнер, Александра Хоржевская, Варвара Александрова.

Свою организацию они называли «Всероссийской социально-революционной». В программу был внесен пункт о свержении самодержавия, но какая политическая форма, власти должна быть установлена после свержения царизма, организация не могла решить,

В выработке программы и устава принимали участие люди не только разных социальных групп — рабочие и интеллигенты, — но еще и люди различных взглядов: лавристы, анархо-бакунинцы и такие, как Петр Алексеев, который уже понимал, что только «мускулистые руки миллионов рабочего люда» разорвут «ярмо деспотизма».

Столкновение разных мировоззрений привело к тому, что при кажущейся договоренности ни о чем не договорились: устав не был утвержден, не был размножен. Единственную копию обнаружили впоследствии у Здановича при обыске.

Было решено перейти к пропаганде в провинции.

Петр Алексеев должен был отправиться в крупнейший текстильный центр — Иваново-Вознесенск. Николай Васильев и Иван Баринов — в Серпухов, Лукашевич — в Тулу, Варвара Александрова — в Шую, Александра Хоржевская — в Киев, Ольга Любатович — в Одессу, Чикоидзе и Цицианов — на Кавказ, Иван Жуков — в Петербург.

В эти дни, в дни так называемого съезда, подметил Петр Алексеев, что Дарья начала проявлять интерес к застольным разговорам. Обычно она хлопотала по хозяйству и если заходила в комнату, где велись споры, то на несколько мгновений: поставит самовар на стол, проверит, есть ли сахар в сахарнице, достаточно ли хлеба в корзинке, и исчезает. А тут вдруг внесет самовар, отойдет в сторонку и, блаженно улыбаясь, прислушивается к спорам.

В воскресенье вечером закончился «съезд». И прежде чем отправиться на фабрику, Петр Алексеевич сказал Бардиной и Джабадари:

— Нужно немедленно менять квартиру. Поведение Дарьюшки мне не нравится.

— Что случилось?

— Пока ничего не случилось. Но может случиться.

— Петр Алексеевич, не говорите загадками.

— Хотите точнее, Софья Илларионовна, пожалуйста. Дарья боится за своего Николая, и стоит ей догадаться, кто мы, а она, видно, уже начинает догадываться...

— Немедленно на другую квартиру! Завтра же займусь этим. Понятно? — загорячился Джабадари.

— И без Дарьи.

— Понятно.

— А вы, Софья Илларионовна, не говорите ничего девушкам: нечего их волновать.

Бардина подняла широкую, тяжелую руку Алексеева и приложила ее к своей щеке.

— Какой вы надежный друг! — сказала она дрогнувшим голосом.

Если бы спросили Петра Алексеева: «Почему ты не любишь Ивана Жукова?» — он, пожалуй, не мог бы ответить. Жуков работал много и преданно, но был какой-то будничным, скучным.

Не было случая, когда бы Петр Алексеев просто, по-товарищески подошел к Жукову и спросил его: «Как здоровье?», или: «Как ты относишься к такому-то?» Алексеева не интересовало ни его здоровье, ни его мнение о людях. И Жуков это знал: они встречались только на людях и

говорили только о деле.

И поэтому так удивился Петр Алексеевич, когда поздно вечером Терентьев ввел к нему в закуток Жукова.

— Иван?

— Мне нужно поговорить с тобой.

В общежитии народ уже готовился ко сну. Стоял шум. Люди сновали взад-вперед. Где-то плакали дети. На кухне, видимо, стирали белье: из коридора шел в спальню белый пар. В самом закутке, где за столиком читал Петр Алексеев, белобородый старик, сидя на полу, чинил рубаху.

Инстинктом конспиратора понял Алексеев, что нужно подавить любопытство, что неожиданному визиту Жукова необходимо придать деловой оттенок. Терентьева, старика на полу, ткачей, снующих по общежитию, — всех заинтересовал неурочный гость.

— Ты, Ваня, чего такой убитый? — непринужденно, с нотками насмешливости в голосе спросил Алексеев. — Видать, без места остался? Эка важность! Вот попросим Терентьева: он тебя у нас устроит.

— Ткач он? — заинтересовался Терентьев.

— Ткач, да еще какой! Мы с ним в Питере на пару работали. Меня обскакивал.

— Тогда устрою.

— Слышишь, Ваня? Не горюй. Терентьев уладит твоё дело: они с мастером кумовья! Кому-кому, а Терентьеву не откажет. Савелий!

— Ась? — спросил старик, не поднимая головы.

— Вишь, гость явился. Чайком бы его напоить.

— Поздно, милок: кипяток кончился.

— Вишь, Ваня, какие у нас порядки строгие.

— А я чай пил. — Жуков обратился к Терентьеву. — Значит, устройте?

— Паспорт при тебе?

Жуков порылся в карманах:

— Не захватил.

— Зачем тебе паспорт, Терентьев? Ты сначала с Григорьевым поговори. Скажи ему; не ткач, а золотые руки. А ты, Ваня, завтра приходи с паспортом., Будь спокоен: Терентьев тебя пристроит. Верно говорю, Терентьев?

— Как будто верно.

Алексеев накинул тулуп, достал, шапку.

— А теперь пошли, Ваня, провожу тебя, а то у нас заблудишься.

Они вышли на улицу. Густая мартовская темень.

— Как это ты решился ко мне прийти?

Жуков протянул Алексееву письмо.

— От кого?

— От Прасковьи Семеновны.

— От кого?!

— Ты не кричи.

— От Прасковьи? — сразу перешел Алексеев на шепот. — От Прасковьи?.. Где она?..

— Ты узнаешь все из письма. Только предупреждаю: письмо старое. Его должен был получить Грачевский, да не успел, а после его ареста оно два месяца пролежало у одного человека.

— Иван... Ваня... — бессмысленно повторял Петр, Алексеев.

Что-то непонятное творилось с Алексеевым: мысли неслись скачками, сердце колотилось, тело покрылось испариной. Он чувствовал, что приключилось что-то важное, очень важное, и в то же время не понимал, что именно случилось. Его словно обухом хватили: оглушили, лишили сознания.

— Иван... Ваня...

— Ты в состоянии слушать? Или прекратим разговор.

— Иван...

— Так слушай, что тебе Иван скажет. Завтра я увижу этого человека. Приготовь письмо. Он обещал твое письмо доставить Прасковье Семеновне.

— Где она?

— Там, где была, — в тюрьме. Она скоро освобождается.

— Освобождается?..

— Да. И спрашивает у тебя совета: остаться ей в Петербурге или сюда ехать.

— Сюда!

— Опять кричишь. Петр Алексеевич, не узнаю тебя.

— К черту Петра Алексеевича! Слышь, Иван? К черту Петра Алексеевича! Я поеду в Питер! У ворот буду дежурить!

Жуков поднял воротник пальто и, уходя, сказал назидательно:

— Когда человек теряет разум, с ним бесполезно разговаривать.

— Иван!

Жуков исчез.

Алексеев вернулся в свой закуток. Савелий все еще чинил рубаху, в спальне продолжалась предночная возня. Из коридора все еще валил пар.

Успокоился ли Петр Алексеевич, или конспиратор пересилил в нем внутреннее волнение, но он уже не торопясь повесил тулуп на гвоздь,

присел к столу, заботливым тоном сказал Савелию: «Ты бы спать ложился, поздно», — незаметно для чужого глаза распластал на странице лежавшей перед ним книги коротенькую записку и прочитал ее.

Рука Прасковьи! Буковки аккуратные, круглые, и бегут они четкими строчками, держась одна за другую, как дети в хороводе.

«Родной!..»

Сколько месяцев, а разве был день, когда он не видел ее перед своими глазами, не говорил с ней, не думал о ней? Разве удаchi последних месяцев не связаны с нею? Разве мог он так и столько работать, если бы не уверенность, что скоро, очень скоро надо будет отчитаться перед ней?

«Родной! 10 апреля я свободна. Мне говорил об этом прокурор...»

Нет, Алексеев не мог усидеть на месте! Он оделся и пустился ночью, в мартовскую промозглую темь, на другой конец Москвы — на Пантелеевскую улицу, в дом «вдовы сенатского регистратора Е. А. Корсак», куда друзья переехали из дома Костомарова. Его приход вызвал переполох — ночью не являются гости!

Петр Алексеевич стоял радостно-растерянный, с его лица не сходила застенчивая, даже виноватая, улыбка.

Софья Бардина первая поняла настроение Алексеева.

— Обрадуйте и нас, Петр Алексеевич, — сказала она, кутаясь в пуховый платок.

— Простите меня, великодушно простите! Я нехорошо сделал, очень нехорошо! Ночью вас поднял. Но, видите, положение какое: мне необходимо уехать.

— Куда?

— В Питер.

— А мне казалось, что ты должен поехать в Иваново-Вознесенск, — чуть-чуть резко сказал Джабадари.

— После, когда вернусь из Питера.

— Расскажите нам, Петр Алексеевич, зачем вам в Питер? — мягко попросила Бардина. — И садитесь, а то мы все стоим, словно ругаться собираемся. А вы, Иван Спиридонович, — обратилась она к Джабадари, — пожалуйста, не волнуйтесь.

— Понятно, Софья Илларионовна.

— Господа и вы, девочки, отправляйтесь спать. Мы тут втроем поговорим и завтра обо всем вам доложим.

Остались Бардина, Алексеев и Джабадари.

— Теперь, Петр Алексеевич, рассказывайте. Заранее могу вас заверить, что мы сделаем так, как вы считаете нужным. Но знайте, Петр

Алексеевич, что без вас мы беспомощны. Все связи с фабриками в ваших руках. И к тому же вы собирались в Иваново-Вознесенск. Ведь так было решено?

Петр Алексеевич разжал кулак и протянул руку Бардиной. Она взяла записку, прочитала ее. И по-новому, душевно зазвучал ее голос:

— Петр Алексеевич, я вас понимаю. Нет, это не то слово. Я завидую и вам и Прасковье Семеновне. — Она отдала записку Джабадари. — Поезжайте, Петр Алексеевич, и привезите ее к нам.

— Позвольте! — воскликнул Джабадари, прочитав записку. — Вы, друзья, оба увлеклись. Сейчас у нас восемнадцатое марта, а тут черным по белому написано: «десятого апреля»... Преждевременных освобождений не бывает. Понятно? Так разреши, Петруха, тебя спросить: зачем ты завтра поедешь? Убедиться, что тюрьма на месте? Я понимаю, что ты переживаешь, но можно ли, Петруха, действовать вопреки логике? Софья Илларионовна, я уверен, что вы согласитесь со мной. Петр Алексеевич в Иваново-Вознесенск пока не поедет, а если поедет, то с таким расчетом, чтобы вернуться оттуда не позже восьмого апреля. Девятого апреля он выедет в Питер. Понятно?

Софью Бардину убедили доводы Джабадари, но что-либо советовать Алексееву она не хотела, только вопросительно взглянула на него.

После слов Джабадари Алексеев, наконец, полностью пришел в себя; он вновь получил возможность видеть вещи такими, какие они есть на самом деле.

— А ведь Иван прав, — сказал Алексеев виновато. — Только в Петербург поеду не девятого, а восьмого. И в Иваново поеду на три-четыре дня.

— Вот это мудро. Понятно?

— И мне кажется, что правильно, — Бардина поднялась. — Идемте, Петр Алексеевич, будем чай пить.

— Поздно, Софья Илларионовна, мне далеко шагать.

— Никуда вы не пойдете. Останетесь у нас.

Нет, тут весна ни при чем. Да и некогда было Петру Алексеевичу глазеть, как взволнованные грачи выписывают полукружья на лазурной голубизне, любоваться синеватыми тенями на снежных сугробах, прислушиваться к мягким шорохам пробуждающейся природы. Он сам был частью весны, он чувствовал, как в нем самом пробуждаются новые силы.

Надо было обладать богатырским здоровьем, чтобы после тринадцати часов работы за станком изо дня в день отдавать революционному делу еще шесть-восемь часов: кружок у себя на фабрике, беседы с организаторами в

разных частях города, совещания в доме на Пантелеевской. Выросла большая организация, и чем дальше раскинулись ее ветви, тем больше обязанностей падало на плечи Петра Алексеевича.

Он все сносил, не чувствуя тяжести: он жил в своей работе, ибо эта работа была его жизнь.

В красильном отделении ткацкой фабрики купца Носова сумрачно. Свет от десятка керосиновых ламп не может пробиться сквозь густой пар. Под покатым, низко нависшим потолком чернеют передаточные ремни. На больших валах растянуты ленты ситца. Валы вращаются с большой скоростью, и ситец, падая сверху в огромные бадьи, купается в краске.

Чуть подальше, за двойным рядом железных столбов, поддерживающих верхние этажи фабрики, стоят длинные каменные чаны с кипящей водой, пенящиеся от соды. Ситец, пропитавшись краской в бадьях, бежит к чанам, погружается в щелочную воду и полощется в ней, разбрасывая вокруг хлопья мыльной пены.

Воздух пропитан резким запахом серы. Рабочие в одних штанах и босиком, с серыми лицами и потухшими глазами, передвигаются медленно, автоматически. Тележки — то с бочками свежей краски, то с кипами ситца — вкатываются и выкатываются из красильни.

У крайнего чана стоит Петр Алексеевич. Черные волосы оттеняют бледное лицо. Борода влажная. Горячие брызги, точно комары, впиваются в его обнаженные руки, но Алексеев не обращает на это внимания. Он ловко расправляет ленты ситца, погружая их в кипящую воду, вынимает, разглядывает и опять погружает. Время от времени бросает он в темноту:

— Соды!

Из тумана выплывает мальчонка лет десяти; он безмолвно ставит на пол ведро с белым порошком и тут же пропадает, словно растаяв в тумане.

Алексеев едва держится на ногах, а мартовская ночь еще не скоро кончится. Сквозь густую мглу впереди, за стеклами наглухо, еще позимнему закрытых окон, чернеет беззвездное небо.

Алексеев подходит к водопроводному крану. Из отверстий грязной раковины бьет в нос гнилостный запах: мыло, покрытое толстым слоем сала и краски, не мылится.

— Ты чего прохлаждаешься? — услышал он окрик мастера.

Петр Алексеевич ничего не ответил. Он освежил водой лицо и, вернувшись на свое место, принялся прополаскивать текущую с барабана ленту ситца.

Мастер, встав рядом с Алексеевым, расправил на ладони кусок

мокрого ситца и, склонившись над чаном, разглядывал рисунок. Голубые цветочки выступали на красном фоне без тени, без заусениц.

— Работаете ты хорошо, — сказал он, повернувшись к Алексееву, и строго закончил: — только рожу часто полощешь. Если еще раз замечу, выкину к чертовой матери!

— Не выкинешь, Иван Никанорыч! — насмешливо ответил Алексей.

— А это почему? — опешил мастер.

— Потому, что к пасхе товар гоните, а красильщиков у вас нехватка.

Мастер посмотрел Алексееву в глаза.

— По штрафу соскучился? — спросил он тихо.

— А за что штрафовать, Иван Никанорыч? — добродушно спросил Алексей. — Товар даю первого сорта.

— Рожу часто полощешь!

Алексеев вытер руки и шагнул к крюку, на котором висел его пиджак.

— Ты куда?

— Домой, Иван Никанорыч, — спокойно сказал Алексей.

— Да я тебе!.. Я...

— Пес ты, Иван Никанорыч! — оборвал его Алексей. — Тринадцать часов я сегодня отстоял у Тимашева и пошел к тебе, чтобы за ночь тридцать копеек заработать, а ты хочешь их у меня штрафами забрать? Сам становись к лохани!

В другой раз за такие дерзкие слова мастер собственноручно спустил бы рабочего с лестницы, да и наградил бы еще несколькими пинками на дорогу, но сегодня Иван Никанорыч беспомощен, как ребенок: пасха на носу, ситец нужен фабриканту, а красильщиков нет. Сам он, Иван Никанорыч, еле упросил десяток ткачей — вот таких, как Алексей, знающих красильное дело, — «выручить его Христа ради».

— Черт с тобой, — промычал мастер, — полощись!..

Из тумана вынырнуло несколько красильщиков. Они подходили к Алексееву, пристально смотрели на него и, постояв немного, уходили. Только один из них — скуластый, с острой бородашкой — вернулся, и, подмигивая Петру Алексеевичу, загадочно промолвил:

— Ловко это ты его... мастера!..

Кончилась, наконец, ночная смена. Алексей, накинув пиджак на правое плечо, вышел в коридор: хотел отдышаться, прежде чем спуститься во двор. К нему подошел рабочий с острой бородашкой. Он потряс Петра Алексеевича за руку и многозначительно заявил:

— Грибовские мы.

— Артелью работаете?

— Артелью, — подтвердил грибовец. — Второй год работаем у Носова.

— А в Грибове как? Землю бросили? Или семейство там осталось?

— Что бросать-то? — с горечью ответил грибовец. — Земли у каждого столько, что дубу негде тень раскинуть. А ты, парень, скажи, — оборвал он себя, — как это ты душегуба мастера унял?

Из красильни выходили рабочие, и каждый раз, когда распахивалась дверь, вырывался в коридор резкий запах красок и сырого ситца.

— Пойдем, грибовец, — предложил Алексеев. — На улице и поговорим.

Солнце стояло невысоко. На лужах блестели тонкие пленки льда. В небе неясно проступали луковки кремлевских церквей.

— Красильщик ты или ткач? — спросил Алексеев, когда они очутились в тихом переулке.

Грибовец не счел нужным ответить на вопрос. Он поднял с земли щепку и, играя ею, быстро заговорил:

— Ты, вижу, из тех, кто дорогу к правде знает. Научи, парень, как с фабрикантом воевать. Ткачи мы. Когда пришли к Носову, он нам платил за кусок плотного тика три рубля, бывало — и три сорок, А в этом году — рубль восемь гривен! За кусок полубархата платил два рубля, а то и два с полтиной. А сегодня — шесть гривен!..

— А ты знаешь, почему Носов это делает? — мягко прервал Алексеев ткача. — Потому что он нашей рабочей силы не видит. По каморкам мы все плачемся, а друг с другом не договариваемся. Если не выйдем на работу, если стачку устроим — что тогда фабрикант? Раз фабрика не работает, не будет у него прибыли.

— Вот то-то и я своим говорю! — обрадовался грибовец. — Да народ-то... одним свяслом его не обхватишь.

— Ты-то где работаешь? В какой ткацкой?

— Во второй.

— Так ты Власа Алексеева должен знать.

— Как не знать, в одном ряду с ним работаем. Плохой он ткач, не уважает его народ. Вот раз дал он мне книжку почитать...

— И что ты из этой книжки вычитал?

Грибовец ответил сердито:

— Свиной пас я у помещика, а свинопасу, говорил наш барин, от грамоты только живот пучит.

Алексеев рассмеялся:

— А Влас тебе книжку дал? Артель-то ваша большая? — спросил он

неожиданно.

— Душ сорок.

Алексеев задумался. Сегодня воскресенье. У него назначены два свидания: одно с Николаем Васильевым, второе с Пафнутием Николаевым, своим односельчанином, который ведет пропаганду в ткацкой Соколова. И выпастись надо — ведь сутки проработал. А грибовцев жалко упустить: народ правду ищет.

— Далеко живете? — спросил он.

— Рядом, у Покровского моста.

— Пошли, товарищ, поговорим...

Жили грибовцы в подвале. Пол каменный, потолок низкий, сводчатый. Человек десять мужчин и женщин сидели за длинным столом: завтракали. На нарах возилась детвора. Один ребенок, голый, ползал по полу. Возле окошка сидел старик, сапог чинил.

— Гостя привел! — заявил грибовец.

Один из завтракающих, плечистый, с одутловатым лицом и курчавыми темными волосами, приветливо взглянул на Алексеева.

— Садитесь, — предложил он. — Гостям мы всегда рады.

Алексеев присел к столу. Молодуха — сероглазая, с веселой, пытливой улыбкой — налила кипятка в жестяную кружку, придвинула ее к Алексееву.

— Из каких будете? — спросила она, нарезая хлеб. — В артели живете или сами по себе?

— Один живу.

— Знаете, кто к нам пожаловал? — вмешался в разговор грибовец. Он в эту минуту умывался над ведром. — Герой — вот кто! Душегуба мастера взнуздал!

Старик, тачавший сапог, подошел к Алексееву и строго спросил:

— А не вырвется мастер-то из узды?

— А это уж от нас зависит, — ответил Алексеев.

— Как так от нас? — удивился старик. — Мастер — он мастер и есть. Пес он хозяйский. Тронь его — хозяин за него заступится.

— А за нас, думаешь, некому вступить?

— Кому мы нужны? — горько усмехнулся старик.

— Мы-то очень нужны! — сказал Алексеев. — Все нашими руками создается. Мы фабрику построили, мы машины сделали, и мы же на этих машинах работаем. Мы — всё! Мы богатство создаем! Но силы своей не сознаем, в одиночку выступаем. Оттого и не страшны мы капиталистам. А если всем народом поднимемся... Подумай, дедушка: хозяев-то кучка, а нас, тружеников, сколько?

У грибовцев Алексеев задержался до полудня. Народ попался смысленный, любознательный. Они забросали Алексеева вопросами. Их все интересовало: и почему крестьян с земли согнали, и почему рабочему человеку живется так трудно, и почему царь защищает фабриканта. Не успевал Алексеев ответить на один вопрос, как тут же задавался следующий.

— Вот это настоящие слова! — подвел итог беседа ткач в красной рубахе. — Только ты, Петр Алексеевич, к нам почаще приходи.

Бегут дни — скоро в Питер!

В среду 25 марта с утра Петр Алексеевич ушел с фабрики, сказав мастеру, что отец приехал из деревни. Сторож Скляр, дежуривший у ворот, ехидно спросил:

— Что так вырядился? На свадьбу пригласили?

Вопрос сторожа озадачил Алексева: он только теперь заметил, что, на нем тонкая поддевка, а под ней праздничный костюм. Одевался он механически: не думал о том, что надевает.

— Невесту иду смотреть, — шутливо ответил Петр Алексеевич, хотя ему было не до шуток: ведь рыжий Скляр донесет управляющему Григорьеву.

Алексеев, не торопясь, переулками вышел на Немецкую улицу. На воротах пестрели записки: «Сдается комната», «Сдается квартира». Один домик ему понравился: приветливый, зеленый, с цепочкой старых берез по фасаду.

Хозяйка показала комнату: большую, с тремя окнами, с белыми кисейными занавесками и цветами на окнах, с картинками на стенах, с хорошей чистой постелью.

— Большая семья у вас? — спросила хозяйка, видя, что комната понравилась съемщику.

— Жена да я. А у вас как?

— Одна я. Родственников никаких.

Грустно звучала ее речь, грустны были и ее глаза.

— Давно тут живете?

— Я тут родилась, тут замуж вышла, тут и мужа похоронила.

Понравилась комната, понравилась и хозяйка. Петр Алексеевич положил на стол десять рублей.

— Снимите с ворот билетик.

— Сегодня переедете?

— Считать будем с сегодняшнего дня, но переедем только

одиннадцатого апреля.

— А вашей супруге понравится? Может, с нею зайдете?

— Жена в деревню уехала. Она у меня не из капризных, — было бы чисто, уютно, и, главное, тихо. Шуму она не любит.

— Тогда ей у нас понравится. — Хозяйка под села к столу, написала расписку. — А теперь пожалуйста чай пить.

— Некогда, Марья Константиновна.

Алексеев попрощался. Возле двери хозяйка спросила:

— Паспорта для полиции сейчас сдадите?

— Зачем сейчас? Когда переедем.

На улице было солнечно — вправду, весна. У людей веселые лица; детишек много; звонко расхваливают лоточники свой товар.

Алексеев повернул в сторону Пантелеевской улицы.

Внезапно хлынул дождь, крупный, частый; он с силой забил по земле, заволакивая ее мелкой водяной пылью. Пешеходы спешили под укрытия. Дети стайками жались к заборам.

Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. С крыш еще капало, но небо уже сияло весенней голубизной.

Обходя лужи, Алексеев нечаянно наступил ногой на куклу.

От забора отделилась девочка, худая, в плохоньком пальтишке. Подбежав, она из-под ноги прохожего выхватила свою куклу и расплакалась.

— Эх, незадача!.. — произнес Алексеев, опустившись на корточки перед девочкой. — Сломал... Что ты скажешь!.. Ну, ничего, милая, купим новую.

Он взял девочку за руку. Отправились они к ларьку, где и выбрали куклу в цветастом сарафане.

— Одна ты у своей мамани? — спросил он, подавая девочке куклу.

— Братец еще есть у меня, — быстро откликнулась девочка. — Только он еще маленький.

Алексеев купил погремушку.

— Дай своему братцу. Скажи: дядя Петя подарил. — И, погладив девочку по голове, скорым шагом направился к двухэтажному деревянному дому с желтой, на весь фасад, вывеской: «Трактир Н. П. Попова».

В трактире пахло кислым. На зеркальном окне была выведена желтой краской большая надпись: «Распивочная продажа пива и меда, а также крепкого». По стенам, выкрашенным в канареечный цвет, висело несколько лубочных картин. Самый видный предмет в заведении — буфет, уставленный чайниками, чашками, стопками.

За стойкой стоял хозяин — плотный мужчина с черной бородой, ласковой улыбкой и плутовскими глазами. Только один столик был занят. За ним сидели Николай Васильев и парень в чуйке.

Петр Алексеевич подсел к ним.

— Ты любишь детей, Николай? — спросил он.

Николай Васильев удивился:

— Что ты, Петр! Женишься?

Алексеев с горечью ответил:

— С малых лет они в грязи, босиком, тело еле прикрыто. А вырастут, что их ждет? Ярмо, фабричная вонь...

— Ты это к чему?

— Девочку встретил, вот и вспомнил. Сколько их таких, несчастных! — И, махнув рукой, словно отгоняя от себя мрачные мысли, спросил парня в чуйке — А ты что такой скучный? Неудача у тебя?

— Откуда удаче быть! — тоскливо откликнулся парень. — Мастера по цеху шныряют, к каждому моему слову прислушиваются. Того гляди, еще полиций передадут.

— И ты испугался? — строго спросил Николай Васильев.

— Испугаешься! Давеча в нужнике книжку народу читал. Налетел мастер: «Ты, такой-сякой!» Хорошо, что книжка была разрешенная...

В трактир вошел Пафнутий Николаев. Он подошел к столику, поздоровался и, обращаясь к Петру Алексеевичу, неласково сказал:

— Опять без литературы меня оставили!

Алексеев заказал чай, потом обратился к Пафнутию;

— Во-первых, садись.

А когда тот присел, Алексеев продолжал:

— Скажи, Пафнутий, не раздаешь ли ты книжки таким, кто грамоте вовсе не обучен?

— Что ты, Петр Алексеевич!

— Ты не удивляйся. Есть у нас такой пропагандист — на раскурку книжки раздает. Да и ткач он плохой: не уважает его народ.

— Кто это?

Алексеев не ответил: он говорил о своем брате, Власе.

— Вот что, друзья, — сказал он. — У Носова во второй ткацкой работает артель грибовцев. Подзаняться надо с ними...

Официант подал на стол два чайника: один большой, с кипятком, другой маленький, с заваркой. Алексеев разлил чай по стаканам.

— Кого бы вы посоветовали на место нашего горе-пропагандиста? — спросил Петр Алексеевич, когда официант отошел от стола.

Николай Васильев взял со стола кусок хлеба и, разламывая его, тихо ответил:

— Есть у меня на примете толковый парень — Акулов. Он в Серпухове работал. А теперь он у Гучкова. Ему можно кружок поручить.

— И у меня есть один, — заявил Пафнутий Николаев. — Тюрин его фамилия. Работает он у Бабкина и у меня в кружке занимается.

Алексеев откусил кусок сахара, сделал несколько глотков из чашки и размеренно сказал:

— Обоих приспособим. Ты, Николай, направь Акулова к грибовцам, пусть занимается с ними. Толк будет: народ хороший. А ты, Пафнутий, уговори своего Тюрина бросить работу у Бабкина, — пусть нанимается к Носову, во вторую ткацкую.

Склонившись над столом, следя глазами за трактирщиком, Алексеев достал из бокового кармана пиджака сверток и быстро придвинул его к Пафнутию Николаеву:

— Тут найдешь тетрадку — «Манифест Коммунистической партии», тот самый, про который я тебе давеча говорил. Ты этот манифест сначала сам прочитай. Вникни в суть. А суть та, что рабочему человеку за свои права бороться надо, вырвать надо эти права из лап буржуазии. Вот в чем суть!.. Когда прочитаешь манифест, Федору его передашь. И в кружках зачитаешь. Теперь, Пафнутий, рассказывай, что на твоей фабрике делается.

Алексеев слушал внимательно, часто прерывал рассказчика:

— С грамоты начинайте, с грамоты! Рабочий сам должен читать. С голоса он не так много поймет.

Долго длилась беседа.

Пафнутий ушел.

Алексеев заказал еще «пару чая», сам разлил по чашкам и неожиданно обратился к Николаю Васильеву:

— Чего наш Ваня так насупился? — И, повернув голову к парню в чуйке, спросил: — Чего надулся? Или обиделся?

— Не красна девица.

— То-то! — в том ему произнес Николай Васильев. — Хотя теперь и девицы стали в делах разбираться.

— Студентки, — огрызнулся парень.

— Что ты все, как сом, под корягу прячешься? — с заметным раздражением повысил Николай Васильев голос. — Чем ты недоволен? Испугался чего? Скажи. Никто тебя силком держать не станет. Не понимаешь чего — спроси...

— Каверзные вопросы задают мне. А я что, студент, чтобы все знать?

— Опять про студентов! Студенты свое дело делают, но и ты своим умом живи. А про каверзные вопросы выдумал.

— А про акционерные общества и почему их столько развелось — это не каверзные вопросы? — с отчаянием в голосе спросил парень.

Николай Васильев поклонился Ване:

— Здравствуй, кум! Ездили-ездили — и никуда не приехали! Сколько раз мы с тобой об этом говорили!

— Не говорили.

— А говорил я тебе, что мужики от бескормицы в город бегут, на фабрики?

— Говорил.

— А кто фабрики строит? Помещик. Много денег он от царя за свои пустоши получил. Строит еще мироед, что на нашей с тобою нужде нажился. И из-за границы толстосумы налетели. Учужали, что у нас можно на грош пятаков купить, что мужик наш с голодухи и камни на холке таскать будет. Говорил?

— Да разве все упомнишь, о чем ты говорил? Уволь меня, Васильев, не способен я к этому делу.

— Ты, Ванюша, парень грамотный, — мягко сказал Николай Васильев.

— Прежде чем с народом говорить, ты книжечку сам почитай да чаще на квартиру к нам являйся. Народ теперь до правды хочет добраться, ты ему только дорогу укажи. Когда у тебя кружок соберется?

— В субботу.

— Я приду к тебе, помогу.

Ваня сказал обрадованно:

— Вот это дело! А то, ей-богу, один не управлюсь.

— Слышал, Петр Алексеевич? Грамотный парень, а не справляется. Эх, Ванюша, счастливый ты человек! Зрячий, понимаешь, Ваня, ты зрячий! А я вот до тридцати лет дожил и читать не умею. Все со слуха повторяю. — И на лице Николая Васильева появилась горькая усмешка...

**ПЛАНГРАММА ФАБРИК И ЗАВОДОВ МОСКВЫ,
ГДЕ ВЕЛАСЬ РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПРОПАГАНДА
ПЕТРОМ АЛЕКСЕЕВЫМ И ЕГО ТОВАРИЩАМИ**



1. Трофимова.
(Здесь в 1870 году работал
Петр Алексеев.)

2. Тимашева.
(Здесь в 1875 году работал
Петр Алексеев.)

3. Носова.

4. Горячева.

5. Бр. Гучковых.

6. Бр. Тюляевых.

7. Соколова.

8. Шибяева.

9. Бр. Сапожниковых.

10. Турне.

11. Гекмана.

12. Дангауэра.

13. Емельянова и Рошфор.

14. Мешкова.

15. Лазарева.

16. Гюбнера.

17. Моисеева.

18. Беляева.

19. Дом Костомарова (где
находился штаб Всер. соц.-
револ. организации).

20. Номера Руднева (где
вырабатывался устав Всер.
соц.-револ. организации).

21. Дом Корсак (где была
арестована революционная ор-
ганизация).

(Из книги Н. С. Каржанского, «Московский ткач Петр Алексеев».)

Когда Ваня ушел, Петр Алексеевич обнял за плечи Васильева.

— Ты не очень убивайся, Николай, из парня будет толк.

— В нашем деле смелость нужна, — как-то грустно ответил Васильев, — а он робкий. Мы с тобой, Петруха, по проволоке ходим. Пока ходится, опасности не замечаешь. А если поскользнемся, Петруха, если поскользнемся? Заберут в полицию такого Ванюшку, а он от робости давай все выкладывать. Погубит все дело.

— Не погубит, Николай. Назовет он пяток имен, ну, десяток. Больше сам не знает. А нас сколько? Много сотен. От дуба отрежь десяток ветвей, дуб дубом останется. Вот Грачевского арестовали, Союзова арестовали, что мы — слабее стали? Почитай, во много крат сильнее. Весну не Остановишь, и народ арестами не запугаешь.

— Ну, раз ты спокоен, — помедлив, сказал Васильев, — то мне и подавно нечего беспокоиться. Я на фабриках не работаю, хожу по трактирам, бельишком поторговываю — никто на меня и внимания не обратит.

В московском жандармском управлении было два генерала: генерал-лейтенант Слезкин и генерал-майор Воейков — начальник и заместитель. Роста они были одинакового — гвардейского, но Слезкин тонкий, нервный, как скаковая лошадь, а Воейков толстый и спокойный, как битюг. Слезкин в юности был гусаром и пошел в жандармы из выгоды, Воейков же окончил юридический факультет и стал жандармом по убеждению.

Два генерала — две школы. Слезкин — николаевской: посылай на казнь из милосердия к осужденному. Воейков — школы шефа жандармов Потапова: хватай без разбора, потом разберешься.

Два генерала — два направления. Но Слезкин — начальник, и поэтому приходилось Воейкову действовать «в обход».

Еще в июне 1874 года Александр II поручил генералу Слезкину произвести «дознание о распространении в народе в разных местностях империи преступной пропаганды». Слезкин с тремя адъютантами, тремя прокурорами и с молоденькой артисткой Баскаковой в качестве чтицы объехал восемь губерний. В результате этой поездки появился труд на 24 802 листах. Писали адъютанты, писали прокуроры, писали чиновники для

особых поручений при губернаторах — генерал Слезкин только редактировал: «да» он переделывал на «нет», вместо «28 или 36 человек» он писал: «2–8 или 3–6 человек», слово «рабочий» он всюду переправлял на «недоучившийся семинарист». Вывод из доклада генерала Слезкина напрашивался сам собой: с преступной пропагандой покончено!

Доклад генерала Слезкина был готов в марте 1875 года, как раз в то время, когда на рабочей карте генерала Воейкова появились десятки новых красных точек: из донесений платных и добровольных шпионов стало известно, что на многих московских фабриках возникли революционные кружки. Генерал Воейков понял, что в Москве появилась новая организация — большая, неуловимая; появились новые люди — ловкие, опытные и осторожные.

По небу плыли белые облака со стальными подпалинами.

Дождя не было, а воздух был пронизан сыростью.

И в такой кислый день Слезкин сидел в коляске без шинели. Молодой жандармский офицер, спутник Слезкина, увлеченно о чем-то рассказывал, но Слезкин рассеянно смотрел на убегающие назад дома, на людей, снующих по тротуарам, и время от времени притрагивался большим пальцем левой руки к седым усам.

Серые рысаки быстро домчали коляску до дома генерал-губернатора; кучер остановил лошадей не перед парадным подъездом на Тверской, а свернул в переулок и въехал в широкие ворота. Офицер проворно выскочил из коляски и распахнул дверцу.

Слезкин выгрузился медленно, по-стариковски, но, очутившись на земле, приосанился и молодежаватым шагом, гремя волочащимся за ним палашом, направился в дом.

В коридоре было темно. Слезкин не видел охраны, хотя знал, что где-то тут дежурят его «молодцы»,

— Есть тут живая душа?

Словно из-под земли, выросли два охранника.

— Григорий Иванович у себя? — спросил Слезкин, не ответив на приветствие.

— В диванной, ваше превосходительство!

Слезкин, подобрав палаш, направился к белой двери, на которой смутно отсвечивало золото затейливого рисунка. Не постучав, Слезкин вошел в комнату.

На длинном столе стояли хрустальные вазы. Узкоплечий человек с большими пушистыми усами, держа на весу вазу, разглядывал в ней что-то. Это и был Григорий Иванович Вельтищев — не то камердинер, не то

наперсник князя Долгорукова.

— Здравствуй, Григорий Иванович!

— Здравствуйте, — сдержанно ответил камердинер. Он поставил вазу.
— Когда изволили приехать?

— Только с вокзала. Как князь?

— Туча.

— По какому поводу?

— Вами недоволен. Говорит, «караул» надо кричать, а вы поете «аллилуйя».

Слезкин улыбнулся: вон оно откуда ветер дует! Всю дорогу из Петербурга в Москву он думал о том, что, собственно, произошло. Четыре дня носились с ним в Петербурге, как с дорогим гостем: Потапов — шеф жандармов и начальник Третьего отделения — возил его к графу Палену, министру юстиции, тот — к царю. Доклад прошел блестяще: царь поднялся из-за стола, чтобы поблагодарить Слезкина стоя. Из дворца увез его градоначальник Трепов «откушать в семейном кругу». А на пятый день — отшатнулись от него все. Когда он явился с визитом к графу Палену, тот его не принял, а непосредственный начальник, Потапов, увидев его вчера в приемной, удивленно взглянул на него и раздраженно спросил: «Вы еще в Петербурге?»

Слезкин понял, что кто-то «вымазал его дегтем». Но кто?.. И вот теперь он получил ответ: всесильный Долгоруков! Друг царя!

Начальник московского жандармского управления сразу почувствовал, что он стар, что ноги дрожат, что из спины уходит сила, придававшая фигуре стройность. Он присел к столу и заискивающе посмотрел на «всесильного» Вельтищева.

— Григорий Иванович, мне бы с князем поговорить.

— Нельзя. Убираются.

— Очень надо.

Григорий Иванович пристальным взглядом умных глаз окинул Слезкина.

— Прижали, — сказал он участливо. — А вы, генерал, не горюйте, — добавил он добродушно. — Образуется. Посидите тут, а я посмотрю, как князь. Если ведро — позову.

Григорий Иванович ушел. Слезкин прислонился головой к спинке стула, закрыл глаза. В голове шумело. Наплывала дрема.

— Пожалуйте, ваше превосходительство!

Слезкин вскочил, подобрался и валкой кавалерийской походкой зашел в спальню князя.

В глубоком кресле завернутый в пудер-мантиль сидел генерал-губернатор князь Долгоруков. Щегольски одетый француз Леон Эмбо прилаживал паричок на лысую голову князя.

— Поздравляю, генерал.

— С чем, ваше сиятельство?

— Тебя государь жалует брильянтами к Александру Невскому.

— Спасибо, ваше сиятельство, за приятную новость.

Парикмахер приклеивал волосок к волоску. Григорий Иванович стоял в стороне и подбадривающе смотрел на Слезкина.

— Тебе Потапов показывал мое письмо?

— Не показывал, ваше сиятельство.

— Странно...

В эту минуту парикмахер завивал колечком усики князя, и слово «странно» прозвучало плоско, без буквы «р».

— Воейкова видел?

— Нет еще, ваше сиятельство.

Парикмахер отступил на несколько шагов, поворачивая голову вправо и влево, проверял свою работу, и, оставшись ею доволен, приблизился к креслу балетными па и осторожно, кончиками пальцев, снял с князя пудер-мантиль.

Долгоруков оказался в одном белье, в туфлях на босу ногу.

— Ваше сиятельство... — начал парикмахер.

— Пошел! — отмахнулся от него князь. — Григорий, проводи господина Леона.

Парикмахер собрал свой инструмент и вышел из комнаты танцующим шагом. За ним последовал и Григорий Иванович.

— Я недоволен тобой, генерал, — сказал князь, продолжая сидеть неподвижно, как при парикмахере. — В государственных делах нет пауз: одно наплывает на другое. И то, что было хорошо сегодня, завтра уже может быть плохо. Государя надо было успокоить, потому и нужен был твой доклад. Но ты-то не первый год носишь голубой мундир. Ты-то должен был знать, что преступная пропаганда вовсе не пошла на убыль — наоборот, усилилась. Успокоил государя, получил награду, закройся в кабинете с Потаповым и Паленом и доложи: «Плохо, ваши высокопревосходительства, мы готовимся к войне с турками, а у нас Парижской коммуной пахнет. Надо усилить корпус жандармов, нужны дополнительные ассигнования на охранные мероприятия». А ты сам поверил в свой доклад и на весь Петербург затрубил в победный рог.



Здание тюрьмы предварительного заключения, в котором находился Петр Алексеев.



Выступление Петра Алексеева на суде. Рис. художника Гольдштейна.



Лидия Фигнер.

— Ваше сиятельство, у нас нет больших дел!

— Ты хочешь сказать, что нет раскрытых больших дел? Согласен. Но это еще не значит, что нет преступной пропаганды. Она есть. Раскрой ее. Создавай большие дела. И пойми, генерал, что у нас не может быть спокойно. В шестьдесят первом мы повернули резко влево, в шестьдесят шестом — резко вправо. Карета и та после резких поворотов кренится набок, а мы поворачиваем такую махину, как Российская империя. Вот истоки преступной пропаганды. А ты в победный рог трубишь!

— Ваше сиятельство! Москва...

— Знаю, что ты скажешь, генерал. В Москве нет большой

промышленности. И слава богу! Не так закоптили небо, как в Петербурге. Но ты, генерал, забываешь, что древнее слово «Москва» звучит весомее, чем нерусское словцо «Питербурх». Тут, в древней Москве, мы должны печься о святости монархии. А что получилось? В прошлом году Петербург разгромил наших доморощенных дантонов и Маратов, а у тебя в Москве была тишь да гладь. Недоволен я тобой, генерал. — Долгоруков поднялся; шаркая туфлями, он подошел к зеркалу. — Артист этот французишка! Посмотри, какие колечки! Усики, как у гусарского корнета. И куда это Григорий запропастился?

— Здесь я, ваше сиятельство!

Григорий Иванович вышел из-за ширмы.

— И как тебе не совестно, Григорий. Пожаловал к нам дорогой гость, а ты его даже чаем не напоил.

— Завтрак уже ждет в столовой.

— Слышал, генерал? Не человек, а лампа Аладдина. Давай, лампа Аладдина, одеваться. А ты, генерал, почитай пока циркулярное письмо князьки Кропоткина. На ночном столике лежит. Любопытное письмецо. Одно заглавие чего стоит! «Должны ли мы заняться распространением идеала будущего строя?» Скромный у этого князьки идеал: насильственный социальный переворот. А ты, генерал, говоришь, что больших дел нет!

Долгоруков сказал это добродушным тоном, но в его маленьких, по-азиатски скошенных глазках виднелась такая откровенная насмешка, что генерал Слезкин сжался, сгорбился и упавшим голосом попросил:

— Разрешите откланяться, ваше сиятельство.

— Чего ты, голубчик? — засуетился Долгоруков. — Позавтракай со мной.

— Увольте, ваше сиятельство.

— Не уволю! Так хорошо начался день, а ты его хочешь испортить.

— Отпустите их, князь, — вступился Григорий Иванович. — Генерал ведь к вам прямо с поезда. Им отдохнуть надо.

— Ну, ты... лампа Аладдина!

— Действительно устал, ваше сиятельство.

— Что ж, — огорченно заявил Долгоруков, — насилу мил не будешь. Только ты, генерал, непременно приезжай вечером. Танцы будут.

— Почту за честь, ваше сиятельство.

— Кстати, скажи Воейкову, что благословляю.

— На что, ваше сиятельство?

— Он знает...

Слезкин не поехал домой. Злой, подавленный, он зашел в свой служебный кабинет и, отбросив фуражку, крикнул адъютанту:

— Попроси ко мне генерала Воейкова!

Тяжелыми шагами, почти не отрывая ног от пола, вошел в кабинет генерал Воейков. Широкий, от плохого портного, мундир делал его фигуру громоздкой и неуклюжей. Брюки лежали на ботинках гармошкой.

— Поздравляю, ваше превосходительство, с монаршей милостью, — тепло сказал он, приветливо глядя на Слезкина из-под припухших век.

— Вы растроганы, генерал? — ехидно спросил Слезкин, которого сегодня раздражала и неуклюжая фигура Воейкова и его мужицкое лицо с толстыми веками.

Воейков не заметил или не хотел заметить ехидной улыбки своего начальника; он ответил просто:

— Признаться, да.

— Точно так, как Щепкин?

— Какой Щепкин?

— Актер.

— Не понимаю, ваше превосходительство.

— Так и быть, генерал, поясню. Актеришка из провинции дебютировал в Малом театре и для своего дебюта выбрал роль городничего в «Ревизоре». Старик Михайло Семенович Щепкин явился на репетицию и уселся возле суфлера. Актеришка разошелся, играет с жаром, с надрывом. Режиссер видит: Щепкин плачет, слезы текут по лицу. «Что, Михайло Семенович, растрогались?» — «Да, батюшка, — отвечает Щепкин, — плачу об искусстве, как его этот молодой человек искажает».

Воейков понял намек. Он приподнял свои тяжелые веки и холодным взглядом окинул начальника.

— Вы несправедливы, ваше превосходительство. Я никогда, нигде и никому не говорил, что ваш доклад не полностью совпадает с действительностью.

— Действительность, генерал, — понятие относительное, а не абсолютное. Я в своем докладе изобразил такую действительность, какую хотели видеть в Петербурге.

— Гарью пахнет, ваше превосходительство!

Слезкин сделал несколько шагов по кабинету, выглянул на улицу: мокрый снег, слякотно. Он захлопнул форточку. На язык просились грубые слова, брань. Наябедничал князю, а тот — Потапову. В начальники хочет пролезть! Повремени, голубчик, Слезкин еще не выдохся: тебя, мужлана, я еще заставлю таскать из огня каштаны для Слезкина.

— Вот что, генерал, — сказал он спокойно, деловым тоном, — я видел князя, и мы с ним обо всем договорились. В Петербурге хотят видеть новую действительность. Вот вы, генерал, и создавайте ее. Хозяйничайте, как находите нужным. Заранее одобряю все ваши распоряжения.

Слезкин был мудрее генерала Воейкова: он знал, что грачи не делают весны. «Новую действительность» создадут в Петербурге, а князь Долгоруков и Воейков лишь суеются и галдят, как грачи на талом снегу.

— Но, генерал, — продолжал Слезкин, шагая по кабинету, — новая действительность должна строиться по-новому. Чернышевскому, когда он стоял на эшафоте, бросили букет цветов. Этого нельзя забыть, генерал. В новой действительности не должно быть ни эшафотов, ни цветов. Должен быть суд со свидетелями и защитниками, но подсудимых должно быть так много, чтобы общество ужаснулось, чтобы общество увидело пропасть у своих ног, чтобы люди общества с благодарностью вспомнили тех, кто их охраняет.

Воейкова не смутил размах Слезкина: подсудимых для большого процесса он добудет, но... Он понял, что его начальник хитрит. Кому в угоду? Потапову или Долгорукову? Воейков решил вынудить Слезкина проговориться:

— В Москве тюрем не хватит.

— В России, чтобы тюрем не хватило! — насмешливо ответил Слезкин.

— Я, ваше превосходительство, говорю о Москве. Князь предполагает очистить Москву.

— А мы с вами, генерал, Россию очистим. Кстати, генерал, вы князя не поняли. Князю важно, чтобы первое слово сказала Москва. Вот мы с вами первое слово и скажем. Мы начнем, а Петербург закончит.

Перед Воейковым карта с красными кружочками; каждый кружочек — фабрика. Из каждой фабрики он вылавливал по несколько человек. Многие арестованные называли друзей, товарищей; и вот генерал Воейков, закрывшись на ключ в своем кабинете, выбирает из протоколов те фамилии, которые встречаются по несколько раз. Арестованный Платонов назвал Петра Алексеева: он-де давал ему запрещенные книжки; арестованный Влас Алексеев также назвал своего брата Петра Алексеева: он дал ему на масленице два экземпляра «Хитрой механики».

Воейков написал на отдельном листе: «Петр Алексеев».

Двадцать седьмого марта, в отсутствие Петра Алексеева, зашел в закуток управляющий фабрикой Григорьев. Старик Савелий сидел за столом и разглядывал картинки в большой книге.

— Картинками тешишься? — дружелюбно сказал Григорьев, похлопав старика по спине. — А где твой сожитель?

— Нет его, милоч, не приходил еще.

— Что-то он редко дома бывает.

— А чего ему тут делать? Молод он. Отработал, что полагается, и на воздух его тянет.

Григорьев уселся, обнял старика за плечи.

— Знаешь, Савелий, зачем я пришел? Хочу Алексеева в помощники мастера продвинуть. Как, по-твоему, не обидно будет старикам?

— Ты, милоч, управитель, ты и распоряжаешься. А против твоей воли кто пойдет?

— Значит, советуешь? Старикам не будет обидно?

— Какая тут, милоч, обида? Алексеев свое ремесло знает.

Григорьев поднялся.

— Значит, хозяину скажу, что старики одобряют, а ты, Савелий, скажи Алексееву, что завтра вечером приду, пусть никуда не уходит.

— Скажу, милоч.

Петр Алексеев вернулся домой около полуночи. Савелий все еще сидел за раскрытой книгой.

— Почему не спишь?

— Тебя дожидаюсь. Не нравится мне что-то, Петр Алексеевич...

Савелий передал Алексееву разговор с Григорьевым.

— Чего ты забеспокоился, старик? Дело житейское.

— Смотри, Петр Алексеевич, как бы худа не получилось...

— Не получится, Савелий. Давай свет тушить и спать.

А утром, позавтракав, Петр Алексеевич достал из своего сундучка белую рубаху с цветным шитьем по вороту — ту рубаху, которую он купил в день приезда из деревни и в которой хотел 8 апреля поехать в Питер, — аккуратно увязал ее носовым платком и спрятал за пазуху; потом разыскал Терентьева.

— Ухожу, брат, по делу, а если не вернусь, то возьми мои вещички и рассчитайся с Фроловым — я ему три рубля должен.

— Петр Алексеевич! — воскликнул стоявший тут же старик Савелий.

— Все в порядке, Савелий. Скоро свидимся.

— Дай бог!

Алексеев выбрался из фабрики не через калитку, где дежурил рыжий Скляр, а через окно в подвале.

Вечером нагрянул в казарму генерал Воейков с восемью жандармами. Впереди семенил толстенький Григорьев.

В закутке светло. За столом сидит старик Савелий, разглядывает картинки.

— Где Алексеев?

— Нет его, милоч. Не приходил еще.

Генерал Воейков — грузный, флегматичный — уселся за стол; курил папиросу за папиросой. Вскоре это ему наскучило.

— Приступай к обыску!

Жандармы перерыли сундучок Алексеева — ничего запретного не нашли. Сбили замок со шкафа: книги.

— Клади на стол!

Жандармы носили книги осторожно, на вытянутых руках, словно они были из стекла.

Воейков, пересмотрев книги, понял, что наконец-то попал на одного из самых главных: рядовой рабочий не читает таких книг! «Природа и ее явления», «Очерки из фабричной жизни», «Раскол и его значение в русской истории», «Беседы по русской истории», «Клод Ге»... Генерал так расчувствовался, что отрядил двух жандармов в ближайший трактир за ужином для Григорьева и для Савелия.

— Мы должны бодрствовать по службе, — сказал он, угощая управляющего и старика, — а вы, господа, страдать не должны.

И Григорьев и старик Савелий приняли угощение с охотой: Григорьев, предвкушая еще большую награду за выдачу «государева преступника», Савелий из озорства — с паршивой овцы хоть шерсти клок. Он-то знал, что генералу придется долго ждать Петра Алексеевича...

После полуночи Воейков начал нервничать. Сначала он молча поднимался с табуретки и вновь усаживался, потом стал придирается то к одному, то к другому жандарму; наконец около трех часов ночи он вдруг накинулся на Григорьева:

— Говорил тебе, стереги. А ты что? Упустил его!

— Ваше превосходительство! Все следили за ним, а он, видите, точно в воду канул.

В шесть часов, когда первые редкие лучи заглянули в закуток, генерал Воейков надел шинель и лающим голосом бросил:

— Пошли!

Ткач Яков Яковлев получил в субботу 28 марта получку — четыре рубля шестьдесят копеек — и прямо с фабрики направился в трактир. Там он должен был встретиться со своим братом Трофимом — приказчиком фабрики Тюляева.

В трактире былолюдно: одни пили чай, другие — водку, и все разговаривали в полный голос.

За соседним столом сидели, сгрудившись, человек шесть. Из тарелок, что стояли перед ними, шел приятный парок.

Яков Яковлев был зол. Приближается пасха, надо детей приодеть, припас заготовить, а денег чуть! Жулик этот Шибает! Одних гарусных кушаков Яковлев сдал ему двести шестнадцать, а сколько бумажных? Нарботал рублей на двенадцать, а получил четыре рубля шестьдесят копеек. Что на них приобретешь? Все надежды на Трофима — если он не выручит, загрызет Варвара... Не Варвара, а чистый варвар! Знать ничего не желает: добывай денег на пасху! «Чем я хуже других?» Толкуй с бабой! У кого добыть? Добро бы у Гучковых работал — там народу больше тысячи: всегда найдется, у кого трешку перехватить. А у Шибаета разве фабрика? Так, лабаз, — три десятка работников и жулик хозяин. У кого тут разживешься. А Варваре все нипочем: добудь — и весь сказ!

Явился Трофим. Братья, а ничуть не похожи. Яков длинный, с лицом постным, скучным и глубоко запавшими глазами, а Трофим коротышка, с брюшком и круглым лоснящимся лицом.

— Сказывай, зачем я тебе понадобился.

Так сразу и не скажешь: еще сбежит, когда деньги попросишь.

— Давай раньше чаек закажем, за чаем и поговорим.

— Это для чая-то я пять верст отшагал?

— Можно и водочки заказать, — согласился Яков. — Человек, два стакана!

— Закусочку прикажете? — спросил официант.

Яков вопросительно взглянул на брата.

— Ты заказываешь, ты и выбирай. Хошь воблу, хошь поросенка. Ты хозяин, — скороговоркой откликнулся Трофим.

Якову было тошно: не угостишь — Трофим и слушать его не станет, а угощение денег стоит. А вдруг Трофим откажет, как тогда перед Варварой оправдаться?

— Ты чего, Яков, задумался? Может, у тебя денег нет?

— Как так нет? Есть! Давай нам того, что у них в тарелках. — Он показал на соседний стол.

— Селяночку московскую?

— Вот-вот, селяночку эту самую.

Официант принес стаканы с водкой, две тарелки остро и приятно пахнущей селянки. Братья чокнулись, выпили.

Яков сразу охмелел, и ему вдруг обидно стало за свою извечную нужду, за свой страх перед Варварой.

— Может, еще водки хочешь? — обратился он к Трофиму.

— Можно и еще.

— Человек, еще водки!

— Закусочку прикажете?

— Закусочку? А как же! Тащи поросенка! Как, Трофим? Одобряешь поросенка?

— Хошь воблу, хошь поросенка. Ты хозяин.

— Тащи поросенка!

Выпили по второму стакану, заели поросенком.

Еще обиднее стало Якову: «Кого он угощает? Перед кем унижается? Перед младшим братом, которого всегда считал подлецом: доносчиком в полиции служит!»

— Ты почему молчишь? — набросился он неожиданно на Трофима. — Я тебя водкой пою, поросенком кормлю, а ты молчишь?

— С чего это ты? — миролюбиво спросил Трофим. — Пригласил братца, угостил и вдруг лаешься.

— А ты почему молчишь? Почему не спрашиваешь: «Брат Яков, может, у тебя нужда какая?» Старший брат тебя водкой потчует, поросенком кормит, а ты молчишь! — Вдруг он вскочил. — Кто я тебе? Брат или не брат?

— Яков... Яков...

— Сам знаю, что Яков! А ты, подлец, Якова не уважаешь! — Он схватил со стола стакан, швырнул его на пол. — Видал? Так я вас всех!

— Кого это всех?

— И тебя! И Шибаева! И Варвару! Всех!..

Прибежал хозяин.

— Чего, варнак, разошелся?

— Хочу, потому и разошелся!

— Плати и уходи, не то...

Трофим, крадучись, подобрался к двери и исчез.

Яков явился домой поздно. Били ли его, или он подрался с кем-то, не помнит. Тело ныло, лицо — в кровоподтеках. Попало ему и от Варвары — она его и за волосы таскала и по щекам хлестала, но он сносил побои молча, с обычной покорностью. Денег у него не оказалось: Варвара искала

и по карманам, и за подкладкой пиджака, и даже в шапке.

Яков свалился на пол и тут же уснул.

Проснулся он рано. Жена, дети еще спали. Тихо, чтобы не потревожить семью, Яков вышел во двор» умылся у колодца, почистился и направился в губернское жандармское управление.

— По какому делу? — спросил у него дежурный.

— К их превосходительству.

«Их превосходительство» генерал Воейков явился к девяти часам.

— Важное сообщение имею сообщить.

— Говори!

— Могу указать вашему превосходительству на одного опасного смутьяна.

— Чем он так опасен?

— Он говорит, что скоро будет свобода, что все сословья сравняют.

— И ты ему поверил?

— Не поверил, ваше превосходительство.

— То-то, чего спьяна не сболтнешь.

— Он не был пьян, ваше превосходительство.

— Значит, дурак.

— Ваше превосходительство! Он еще сказал, что на фабриках живут студенты из господ. Они народ обучают и запретные книжки раздают.

Генерал подошел к Яковлеву:

— Ты где работаешь?

— У Шибаева, ваше превосходительство.

— А смутьян этот?

— Работал у Турне, теперь нигде не работает, ходит по трактирам и народ смущает.

— Звать его как?

— Васильев Николай.

— Как зовут?

— Николай Васильев.

— Где живет?

— Не знаю, ваше превосходительство. Но знаю, где его найти.

— Где?

— На Разгуляе. В трактире Куринского.

— Когда он там бывает?

— По воскресеньям, всегда с утра.

Генерал раскрыл дверь:

— Майора Нищенкова ко мне!

Быстрые шаги с серебряным перезвоном. В кабинет вошел грузный офицер с пушистыми черными усами.

— Переоденьтесь, майор, и вызовите двух агентов в штатском, и отправляйтесь с... Как тебя зовут?

— Яковлев, ваше превосходительство!

— И отправляйтесь немедленно с Яковлевым на Разгуляй.

— Сюда доставить?

— Сюда.

Офицер направился к двери, а Яковлев остался стоять на своем месте.

— Ты чего?

Лицо Яковлева стало сразу жалким, как у нищего, к которому приближается хорошо одетый человек.

Генерал хорошо знал свою клиентуру.

— Майор, — позвал он офицера.

— Слушаюсь!

— Когда закончите, дадите Яковлеву пятерку.

Через час выводили Николая Васильева из трактира, и жандармский майор Нищенков, прежде чем сесть в пролетку, дал Якову Яковлеву пятирублевую кредитку.

Но зря раскошелился Воейков.

«Смутьян» вошел в кабинет неторопливым шагом, остановился посреди комнаты и приветливо взглянул на генерала — так смотрит мастеровой, которого пригласили на дом для починки замка или для иной какой-нибудь поделки.

— Садись, Васильев.

Васильев нажал на спинку стула, проверяя его прочность, сел и положил руки на колени.

Генерал был несколько огорошен: простое лицо, изрытое морщинками, спокойные глаза, несуразная бороденка кустиками, длинная худая шея. Неужели это один из «главных»?

— Где ты вычитал, что скоро будет свобода?

Васильев улыбнулся.

— Кто меня учил читать? Сроду я книжки в руках не держал. Неграмотный я.

— Но про свободу говорил?

— Про какую свободу? Я уж, почитай, месяца три свободен. Как прогнал меня господин Турне с должности, так все время свободным бегаю.

— За что прогнал тебя Турне?

— Садовником служил я у господина фабриканта Турне, а теперь он сад вырубил. Не нужен ему больше садовник.

— Чем кормился эти три месяца?

— Старое белье покупаю и продаю. Семейство у меня небольшое, сам-два, двугривенный в день заработаю и на прокорм хватает.

— И на трактиры хватает?

— В трактирах-то я и промышляю. Когда человек недопил, он с себя рубаху скидывает и за гривенник ее отдает.

— Вот какой ты, Васильев! Вместо того чтобы остановить несчастного человека, ты его грабишь, последнюю рубаху с него снимаешь.

— Кормиться-то надо, ваше превосходительство, — спокойно ответил Васильев. — Один одно делает, другой — другое. Все кушать хотят.

— Ты ведь ткач. Почему ремесло бросил?

— Не кормит ремесло. Посудите сами, ваше превосходительство: круглый месяц стоишь за станком по двенадцать-четырнадцать часов, а зарабатываешь три-четыре рубля. Разве на эти деньги проживешь? Определился садовником. Жалованье небольшое, но своя грядка, своя картошка, своя капуста.

— Яковлева давно знаешь?

— Давно, ваше превосходительство. Мы с ним у Турне в одной мастерской работали.

— Дружил с ним?

— Пьяница он, ваше превосходительство, а с пьяницей какая дружба? За водку отца-мать продаст.

— А с кем ты дружишь?

— Вот у фабриканта Турне сторожем служит бывший солдат Гермоген. Из духовного звания. Лет ему, почитай, не меньше семидесяти, а всем интересуется. Особенно солнцем. И так занимательно рассказывает, что, бывало, сядем с ним на скамеечку после обеда, а встаем, когда уже луна на небе.

— А еще с кем дружишь?

— Почитай, все. С фабричными как-то разошелся: у них свои дела, у меня — свои. Встретимся на улице или в трактире — говорить не о чем.

Глядя в спокойное лицо Васильева, генерал думал: «Продувная бестия или дурак?»

— Петра Алексеева знаешь?

— А как же, — оживившись, ответил Васильев. — Как его не знать? Гвоздик нужен — к Алексееву, шило нужно — к Алексееву, за керосином — к Алексееву.

- Это ты про какого Алексеева?
- Как про какого? Про Петра Гаврилыча, что на Пятницкой торгует. «Продувная bestия или дурак?» — опять подумал Воейков.
- А Алексеева Власа знаешь?
- Власа? Нет, ваше превосходительство, такого не знаю.
- А он тебя знает.
- Вот это возможно. Если он ткач, то, возможно, работали у одного хозяина. Если он пьяница, то, возможно, рубаху мне продавал. Разве упомнишь всех, с кем работал или кого в трактирах встречал? Невозможно, ваше превосходительство, сами посудите.

Воейков ни одному слову не поверил, но внутренней убежденности, что Васильев говорит неправду, тоже не было: так естественно лилась его речь, так логичны были его объяснения.

Столько народу было арестовано в последние дни, что Петр Алексеев сразу понял, зачем он вдруг понадобился управляющему Григорьеву. Он ушел с фабрики, чтобы больше туда не возвращаться. Жалко было вещей, но что поделать? И паспорт остался в конторе...

Начинается новая жизнь — нелегальная, и к этой жизни надо готовиться. Квартира у него имеется: в домике, который скрывается за березами. Он скажет хозяйке, что надумал переехать раньше срока, — это не вызовет подозрений. С работой также уладится: день тут, день там, — с голоду не умрет. Но как быть с народом? Где встречаться, где читки устраивать? Ведь с народом необходимо поговорить, особенно теперь, когда всех растревожили аресты.

Петр Алексеевич решил посоветоваться с товарищами.

Квартира на Пантелеевской улице помещалась в глубине двора, в отдельном флигеле. Низкий забор из ржавых листов кровельного железа отделял двор «вдовы сенатского регистратора Е. А. Корсак» от соседней церковной усадьбы. Перед флигелем несколько черных грядок, кругом кучи щебня.

Весна в этом году была ранняя, дружная: деревья уже зеленели, из земли буйно шли травы.

Алексеев склонился, чтобы сорвать травинку, и украдкой глянул, на месте ли «сигнал» — ситцевый платок в крайнем окне. Все в порядке! Он

поднялся на низенькое крылечко и без стука раскрыл дверь в кухню.

Ольга Любатович в цветастом халате стояла возле плиты и ножом переворачивала ломтик хлеба на шипящей сковородке.

— Петр Алексеевич, — обрадовалась она, — хорошо, что вы пришли!
— Она бросила нож. — Идемте в комнату!

— Зачем я так срочно понадобился?

— Беда, Петр Алексеевич! Васильева арестовали!

— Когда? Где?

— Только что, в трактире на Разгуляе.

Петр Алексеевич шагнул к двери, распахнул ее, и первое, что он увидел — Дарья! Она стояла, прижавшись к стене, и, плача, причитала:

— Милые вы мои!.. Хорошие вы мои!..

К дивану придвинут стол. На диване сидят Софья Бардина и Бетя Каминская с одинаковыми прическами — взбитые спереди и коротко остриженные сзади, — в одинаковых беленьких платьях.

На стульях вокруг стола — Семен Агапов, взлохмаченный, словно не успел сегодня причесаться, Пафнутий Николаев в белой рубахе без опояски и крупный, в обтянутой гимнастерке Чикоидзе. Иван Джабадари в длинном сером архалуке шагает по комнате.

На столе самовар и чайная посуда.

— Петр Алексеевич! — кинулась к вошедшему Дарья. — Милый ты мой!.. Хороший ты мой!.. Николая-то моего арестовали... Что я буду делать? Что я, несчастная, буду делать?

— Опять сначала! — сердито проговорил Джабадари. — Ведь мы с тобой уже договорились. Деньги я тебе дал. Купи хлеба, колбасы, папирос и отправляйся в жандармское управление. Отнеси Николаю передачу, попроси с ним свидания. Понятно?

— Милый ты мой!.. Хороший ты мой!.. Не пустят меня в это самое правление.

— Что ты, Дарья, — насмешливо сказал Пафнутий Николаев. — Такую красавицу и вдруг не пустят?

— А ты пореви, — вмешался Семен Агапов. — Слезы у тебя, как вижу, дешевые.

Дарья метнула злой взгляд в сторону Николаева и Агапова, но тут же ее жирное лицо расплылось в угодливую улыбку:

— Милые вы мои!.. Хорошие вы мои!..

К Дарье подошла Бетя Каминская.

— Дарьюшка, сделай так, как Михаил тебе советует. И чего ты убиваешься? Поддержат Николая несколько дней и отпустят.

— За вас он пострадал... За вас... Милые вы мои!.. Хорошие вы мои!..

— Перестань реветь! — строго проговорил Петр Алексеевич. — Николай там без хлеба сидит, а ты тут ручьем разлилась. Нужен он там, твой Николай!

Поддействовала ли строгость Алексеева или что-то иное, но Дарья как-то сразу подобралась, вытерла лицо краешком платка, низко поклонилась:

— Пойду, милые вы мои... Пойду, хорошие вы мои...

Когда Дарья ушла, Алексеев спросил:

— Откуда она этот адрес знает?

— Была тут один раз с Николаем.

— Скверно! Надо немедленно переменить квартиру.

— Неужели... — начала Бардина.

— Да! — оборвал ее Алексеев. — От нее можно ожидать любую пакость. А нам, товарищи, необходимо во что бы то ни стало центр сохранить.

— Друзья, — мягко сказал Чикоидзе, — мне кажется, что нам не следует так поспешно уходить отсюда. У нас имеются обязательства по отношению к рабочим. Они будут ходить сюда встревоженные. Нам надо их ободрить, успокоить, а не скрываться от них. Мне кажется, что своим бегством мы возбудим в них недоверие, и вся наша полугодовая деятельность пойдет насмарку.

— Но для этого нет нужды всем оставаться, — настаивал Петр Алексеевич.

Бардина закуталась в шаль, словно ей внезапно стало холодно.

— Прав Петр Алексеевич, прав и Чикоидзе. Нам надо съехать с этой квартиры, и чем скорее, тем лучше. А я тут останусь для связи.

— И я с тобой!

— Нет, Бетя, я одна останусь. А ты вместе с Джабадари будешь искать новую квартиру. Грязнова и Жукова надо сегодня же отправить в Питер. Лидию Фигнер и Варвару Александрову — в Иваново-Вознесенск. А вы, Петр Алексеевич, как? В Питер или в Иваново-Вознесенск?

— В Питер мне еще рано. Поеду в Иваново. Как у нас с литературой? — обратился он к Джабадари.

— Все будет в порядке. Понятно? Собирай, Петруха, свою группу!

Джабадари нашел квартиру — правда, не такую удобную и не такую просторную, как в доме Корсак, но для конспиративных целей вполне подходящую: также в одиноком флигеле, расположенном в глубине сада.

Третьего апреля былолюдно и весело в доме Корсак. Обстановку и пакеты с литературой уже отправили на новую квартиру. Восемь человек —

Бардина, Каминская, Алексеев, Чикоидзе, Пафнутий Николаев, Семен Агапов, Лукашевич и Георгиевский — занимались укладкой посуды, упаковкой мягкой рухляди и, работая, потешались над тем, что работы на грош, а трудится «целый гвардейский полк». Джабадари, недовольный задержкой, поторапливал и всем мешал.

Когда узлы были уложены и комнаты уже приняли неуютный, нежилой вид, явилась Дарья.

— Милые вы мои!.. Хорошие вы мои!..

— Была, Дарьюшка, в управлении? — спросила Каминская.

— Была, милая, была, хорошая, но меня к Николаю не допустили.

— А ты как думала? — опять съязвил Пафнутий Николаев. — Думала, тебя под ручку возьмут и скажут: «Пожалуйте, сударыня, ваш супруг уже дожидается вас»?

— Не думала я, милый мой, не думала, хороший мой. А вы уезжаете? Милые вы мои, хорошие вы мои, на кого вы меня, несчастную, оставляете?

Джабадари достал из кармана бумажник.

— Получай, Дарья, не огорчайся. Я знаю, где ты живешь. Понятно? Дам тебе знать, когда понадобишься.

Дарья скомкала в руке десятирублевку.

— Спасибо, милый, спасибо, хороший! Дай бог всем вам счастья! — Она подошла к Бардиной, склонилась и неожиданно поцеловала ей руку.

— Что ты?! — рассердилась Софья Илларионовна.

— Прости меня, темную, прости меня, глупую. От всего сердца я, милая, от всей души я, хорошая.

Распрощалась и медленным шагом ушла.

— Давайте чай пить на прощанье, — предложила Бардина, чтобы покончить с тягостным молчанием: все как-то разом почувствовали, что уже случилось что-то очень неприятное или неминуемо должно случиться.

Было уже темно: кое-где горели уличные фонари. Дарья не шла по улице, а бежала: боялась опоздать. В жандармское управление она ввалилась, как куль; большая, рыхлая, она плюхнулась на скамью.

— Где тут начальник? — еле выговорила она.

— Зачем он тебе?

— Скорее. Они сбегут!

— Кто?

— Самые главные. Те, что народ смущают. Они самые главные смутьяны. Студенты и ученые девицы. Скорее! Они сбегут!

Ее повели к генералу Воейкову.

— Мацкевича ко мне! — взревел генерал Воейков.

Жандарм, стоявший у двери, бросился вон.

На пролетках, в экипажах и тюремных каретах приехало человек двадцать. Не доезжая дома Корсак, они соскочили на землю и, опережая генерала Воейкова, бросились во двор. Человек десять выстроилось цепочкой вдоль низенького забора, остальные последовали за Воейковым. Грузный, тяжелый, он подобрал полы шинели, словно ему предстояло перейти через речку, и вприпрыжку, по-мальчишески пустился к крыльцу. На верхней ступеньке Воейков задержался на мгновение, отдышался и, рванувшись вперед, распахнул дверь.

За столом пили чай. Бардина держала чашку на весу. Петр Алексеев, видимо, рассказывал что-то смешное: широкая улыбка освещала его лицо. Чикоидзе смотрел на него смеющимися глазами. Семен Агапов сидел с раскрытым ртом. Каминская застенчиво улыбалась...

— Арестовать всех! — крикнул Воейков.

Жандармы, гремя сапогами, окружили стол.

— Обыскать!

У Петра Алексеева в кармане подложный паспорт, у Чикоидзе — важные конспиративные документы.

— А ордер на обыск имеется? — спокойно спросил Петр Алексеевич.

— Поручик Шишковский, покажите им ордер.

Алексеев взял ордер из рук офицера, прочитал его про себя.

— Тут нет подписи прокурора, — сказал он тем же спокойным голосом. — А без прокурора не разрешено обыска делать.

— Прокурора нет и не будет! — рассвирепел Воейков.

— Обыска без прокурора не имеете права делать, — твердо заявил Алексеев.

— Хорошо! — пролаял Воейков. — Будет вам прокурор! Штабс-капитан Мацкевич, не давать им шагу ступить! На местах пусть сидят! Я поеду за прокурором!

Воейков ушел. Штабс-капитан Мацкевич отослал жандармов на кухню.

— Может, чаю выпьете с нами? — предложила Мацкевичу Бардина.

— Благодарствую.

— Вы простите нас, господа, не можем предложить вам стульев. Мы не ждали гостей, — продолжала Бардина.

— Ничего, посидим и на подоконниках.

Петр Алексеев протянул свой стакан Каминской.

— Налейте, пожалуйста, горяченького и ему, — показал он взглядом на Чикоидзе.

— Я не хочу.

— Зря отказываетесь, — как-то загадочно промолвил Петр Алексеевич. — Твердая закуска от горячего легче проходит.

Чикоидзе не понял, на что намекает Алексеев.

Петр Алексеевич сунул руку за пазуху, спустя мгновение вытащил ее обратно и поднес ко рту. Сделал глотательное движение и запил чаем. Опять руку за пазуху и опять что-то в рот. Чикоидзе понял!

— Пожалуйста, и мне горяченького, — попросил он.

Петр Алексеевич проглотил свой паспорт, даже твердую обложку: Чикоидзе — все свои документы. И когда с этим было покончено, завязался общий разговор, правда, тихий, полушепотом, о том, как себя держать на допросах, какие показания давать по поводу дома Корсак. Говорили спокойно, хотя всех угнетало сознание, что сами виноваты во всем: нужно было вчера переехать на новую квартиру, не надо было затевать чаепития.

Воейков, видимо, увез прокурора Кларка с бала или из театра: он был во фраке, в белом галстуке бабочкой.

— Это вы хотели меня видеть? — спросил он Алексеева.

— Видеть вас я не хотел, — серьезно ответил Петр Алексеевич. — Но мне казалось, что даже при арестах надо соблюдать закон.

— Особа генерала — достаточная гарантия.

— Ошибаетесь, господин прокурор. Генерал — исполнитель закона, но не закон.

— Вы неплохо разбираетесь. Видимо, имели уже дело с исполнителями закона?

— Бог миловал.

— Обыскать! — оборвал Воейков разговор.

Сам Воейков распоряжался, кого в какую карету посадить. Восемь карет уже отправлено.

— А вы, — обратился генерал к Алексееву, — поедете со мной.

Жандармским нюхом почувствовал Воейков, что именно Петр Алексеев «самый главный». Правда, никто из арестованных не нервничал, не суетился — все держали себя просто и с достоинством, но в поведении Алексеева было еще что-то, что внушало к нему уважение. Он не вступал в пререкания с жандармами, но твердым голосом заставлял их не портить вещей; ссылаясь на закон, он не разрешил обыскивать девушек, он резко оборвал прапорщика фон Беринга, когда тот позволил себе прикрикнуть на Каминскую; это он, назвавшись для протокола, внушительно добавил: «И больше не спрашивать». И штабс-капитан Мацкевич подчинился: прекратил допрос.

Вот с этим «самым главным» хотел Воейков поговорить.

Кабинет Воейкова просторный, с коврами на стенах и на полу. Настольная лампа затемнена голубым абажуром.

— У вас нашли два рубля, — начал Воейков, когда он уселся. — Что это: временное безденежье или постоянная нужда?

— Вы, господин генерал, видимо, рабочей жизни не знаете. Для нашего брата два рубля большие деньги.

— А студенты вам жалованье не платили?

— Какие студенты?

— Ну те, из дома Корсак.

— Я их не знаю.

Воейков рассмеялся:

— Петр Алексеевич, вы умный человек, вы сами понимаете: есть вещи, которых отрицать нельзя. Вы можете сказать, что вы не Петр Алексеев, а Иван Иванов, и, до тех пор пока я не докажу, что вы именно Алексеев, вы будете числиться Ивановым. Но глупо, ей-богу, глупо, если вы заявите, что у вас борода рыжая, когда все видят, что она черная. Вы сидите за столом с людьми, пьете с ними чай, смеетесь, беседуете — и вдруг заявляете, что не знаете их.

— А вам, господин генерал, не случилось на вокзале пить чай и беседовать с незнакомыми людьми?

— Случалось.

— Так почему удивляетесь? Я искал комнату. Мне сказали, что там комната сдается. Люди оказались молодые, обходительные. Усадили меня, чаем угостили. Что тут удивительного?

— А Васильева знаете?

— Васильева? Васильевых многих знаю.

— Николай Васильев. Он вместе с вами работал у Турне.

— Вот этого знаю. Кажется, с бородкой... Или нет, с длинными усами. Краснобай такой.

— И вы ему никаких книжек не давали?

— А зачем я стал бы ему книжки давать? Если любит читать, пусть сам добывает.

— А брату своему Власу вы давали книжки?

— Что-то не припомню. Но, возможно, давал.

— Какие книжки давали?

— Известно какие книжки пишутся для народа. «Бова-королевич», «Ванька-Каин».

Дольше сдерживаться Воейков не мог. Он вскочил:

— Вы перестанете меня морочить!
Петр Алексеевич ответил спокойным голосом:
— Если вам кажется, что я вас морочу, то простите, господин генерал, больше ни слова не произнесу.
И замолчал.

Как медленно ползет время!.. В камеру заглядывает белесое летнее небо. Изредка появится тучка, потемнеет вокруг — и опять знойное солнце.

Петр Алексеевич шагает из угла в угол. Его тело не теряет упругости, руки — крепости: он орудует тяжелой табуреткой, точно гирей. Но читать нечего. И вчера он не сдержался, поскандалил: требовал книг.

Его вызвали к прокурору. Августовский день, а прокурор, старенький и подслеповатый, сидит в драповом пальто.

— Чем вы, Алексеев, недовольны? — с наигранной вежливостью осведомился он.

— Книг не дают.

Прокурор окинул Алексеева добродушным взглядом:

— А ведь тебя можно было бы на все четыре стороны отпустить.

— Отпустите, господин прокурор.

Старика рассердил спокойный ответ Алексеева.

— Как тебя отпустить, когда в тебе искренности нет! — Он раскрыл «дело» и ткнул пальцем в исписанный лист: — Два раза я с тобой говорил, и до чего мы договорились? Что ты родился в году 1849 в деревне Новинской уезда Сычевского, что в Смоленской губернии... И все!

— Не все, господин прокурор. Я еще сказал...

— Все! — оборвал его старик. — Что ты мне еще сказал? Что у твоих родителей земли мало, что они тебя девятилетним на фабрику отдали? — Он захлопнул папку. — Запирательство тебя до добра не доведет. Помни, Алексеев: законы у нас строгие, но если ты чистосердечно расскаешься, расскажешь мне про студентов, которые тебя совратили, раскроешь все их шашни, то, поверь мне, старому человеку, под снисхождение тебя подведу и выпущу на все четыре стороны. Что ты делал в доме Корсак?

— Квартуру искал. Увидел билет на воротах — вот и поднялся. Мальчонка один сказал, что там дворник проживает.

Прокурор укоризненно покачал головой:

— Я с тобой, как отец с сыном, а ты со мной хитришь. Хочешь, я тебе скажу, что ты делал в доме Корсак? Ты там билет получал, чтобы поехать в Иваново-Вознесенск... Ты запираешься, а я про тебя все знаю. Ты из кожи лезешь, чтобы услужить студентам, а они нам все рассказали. Они отrekliсь от тебя, мужика сиволапого, а ты их щадишь. И до каторги себя доведешь. Понимаешь, Алексеев: до каторги!.. Что, тебе жизнь надоела? И за кого ты хочешь пострадать? За студентов, которые тебя же предали?

Подавляя насмешку, Алексеев смотрел в подслеповатые глаза прокурора... Ему был противен этот старик: третий раз беседует он с ним — и каждый раз с подковырцей. Сейчас билетом пугает. Билет на столе остался: легко догадаться, что кто-то собирался в Иваново-Вознесенск.

— Ну, Алексеев? — резко окликнул прокурор. — Чего ты молчишь?

— Молчу потому, что сказать мне нечего. Я все уже сказал.

Опытный прокурор понял, что ему и на этот раз не справиться с Алексеевым.

— Иди. Я прикажу, чтобы тебе книги дали.

Действительно, книгу Алексееву дали. Петр Алексеевич обрадовался было, да, увидев золотой крест на переплете, понял: библия.

Из полицейского участка Алексеева перевезли в Бутырки, в Пугачевскую башню. Камера короче, чем в полицейском участке, но такой же кусок неба в окне и та же мышьяная возня под полом.

Алексеев положил себе за правило ежедневно часа два по утрам махать руками, и в этом махании он достиг того, что мог, не сходя с места, сделать более девяти тысяч взмахов. А перед сном он «отправлялся на прогулку»: из одного угла в другой. «Прогулка» длилась также два часа, и за это время Алексеев вышагивал десять километров.

В одну из бессонных ночей (спать полагалось при свете) Алексеев увидел мышь, вылезшую из-под нижнего плинтуса. Он взволновался при виде живого существа и решил «подружиться» с мышкой. От каждого своего обеда Петр Алексеевич начал оставлять у стола кусочки мяса, хлеба и, ложась на постель, смотрел в тот угол, где была норка. В дырочке появлялась острая мордочка с маленькими черными глазками. Затем серенький зверек начинал свое путешествие по камере, обнюхивая все попадавшееся на пути. Наконец зверек достигал места у стола, где была для него приготовлена трапеза.

Когда выпадали дни, что мышка не показывалась в камере, Алексееву делалось тоскливо, точно друг, назначивший ему свидание, не явился на него.

Наконец-то разрешили Алексееву пользоваться библиотекой. Он

набросился на книги, читал все подряд: «Чрево Парижа» Золя и «Историю» Костомарова, разрозненные номера какого-то медицинского журнала и политическую экономию Милля. Он прочитал всю историю средних веков Стасюлевича и много других книг.

На воле он никогда столько не прочел бы, и, что важнее всего, прочитанное лучше усваивалось: этому способствовала тишина и отсутствие впечатлений.

На смену 1875 пришел 1876, но для Петра Алексеевича ничто не изменилось. Одиночная камера, короткие прогулки, книги... Промелькнула весна, отошло лето, опять холодные рассветы. Исхудал Петр Алексеевич, борода стала клочковатой, лицо покрылось желтой сетью мелких морщин, но сила из тела не ушла: ноги по-прежнему крепкие, кулаки тяжелые. Он выглядит намного старше своих двадцати шести лет, но пожилым его тоже не назовешь.

А папки разбухали: жандармы, прокуроры и сенаторы готовили «Дело о разных лицах, обвиняемых в государственном преступлении по составлению противозаконного сообщества и распространению преступных сочинений».

«Новая действительность» создана! Состряпан первый массовый политический процесс — «процесс 50-ти»! В дождливый сентябрьский вечер Петра Алексеева отправили в Петербург, в дом предварительного заключения, что на Шпалерной улице.

Пока шло оформление вновь прибывшего арестанта, наступило утро, сизое и холодное. Петр Алексеевич вошел в камеру, лег на койку.

— Хлеб! — послышалась команда из коридора.

Открылась форточка, вырезанная в двери, и надзиратель сунул в окошко кусок черного хлеба.

— Кипяток!

Алексеев протянул железную кружку.

Хлеб оказался малосъедобным: сырой, вязкий, годный разве только для лепки.

Вдруг услышал Алексеев голос, он шел из-под пола:

— Товарищ!..

Кто-то звал сдвленным шепотом.

Петр Алексеевич бросился в тот угол, откуда слышался зов.

— Я тут, товарищ!

— Поскреби около трубы, там щель, — откликнулся голос из-под пола.

Алексеев принялся ногтями расширять щель. Голос нижнего товарища слышался уже яснее:

— Почему не отвечаешь на стуки?

— Я вашей азбуки не знаю.

— Сними икону в углу. На оборотной стороне азбука записана.

В коридоре послышались шаги. Алексеев одним прыжком очутился возле стола. Когда затихли шаги, опять послышался голос из-под пола:

— Кто ты и откуда прибыл?

Алексеев назвал себя.

Пошел перестук по тюрьме. То затихая, то усиливаясь, перестук полз из камеры в камеру, с этажа на этаж.

После могильной тишины Пугачевской башни Петра Алексеевича поразила этот бодрый, многоголосый шум.

«Народу сколько!» — подумал он.

Почти два года был Алексеев оторван от жизни. Все, что происходило на воле, казалось подчас таким далеким, точно это происходило в детстве. Фабрики в Петербурге, фабрики в Москве, кружки, товарищи...

Уже на второй день пребывания в «предварилке» Алексеев убедился, что она включает в себе много такого, что делало ее неизмеримо ценнее Бутырок. Правда, камера была похожа на гроб, но в этом гробу Петр Алексеевич почувствовал себя более человеком, чем в московской тюрьме. Он сидел в своей одежде и в своем белье, а не в арестантском, имел свой чайник, свою кружку, свое маленькое хозяйство. Он имел право не только читать книги, но и писать. А всего важнее была полная возможность сношения с товарищами.

Дом предварительного заключения — это неправильный многоугольник. Стены корпусов образовывали двор. Посреди двора была воздвигнута невысокая башня, от которой, как от центра, расходились решетчатые клетки. Крыш эти клетки не имели, и стоявший на башенке надзиратель мог видеть, что делалось внутри них. Заключенные называли эти клетки «загонами». Загоны служили местом для прогулок.

Политических заключенных было очень много. В «предварилке» собрались обвиняемые по «процессу 50-ти». Они, все эти политические, считали своим долгом не покоряться тюремной дисциплине и действовали по формуле: «Нас законопачивают, а мы расконопачиваемся». Они

перестукивались в камерах, переговаривались «по трубам», переписывались с этажа на этаж.

Они не хотели гулять в одиночку. Надзиратель вводил политического в загон, а тот шмыг через верх — и к товарищам! Начальство увещевало, грозило взысканиями, но все это ни к чему не приводило: политических было чересчур много, и все они были непокорны. Пришлось начальству примириться с этим злом.

Шестнадцатого февраля 1877 года на прогулке Алексеев встретил друзей-москвичей: их привезли из Петропавловской крепости. Джабадари, Чикоидзе, Цицианов, Георгиевский бросились к Алексееву: поцелуи, объятия, радостные возгласы.

Подошли и рабочие: Семен Агапов, Баринов, Пафнутий Николаев.

Алексеев хотел рассказать товарищам о себе, о том, что он пережил и передумал, но вместо этого вдруг предложил:

— Надо нам к суду готовиться. Дадут нам последнее слово, а что мы в этом последнем слове скажем?

— Ты ведь не знаешь, что прокурор скажет, — сказал Семен Агапов.

— Разве важно, что прокурор скажет? — спокойно откликнулся Петр Алексеевич. — Мы знаем, чего он добиваться станет. Мы свое сказать должны. Каждый по-своему должен сказать суду, за что он свой живот кладет.

— Петр дело говорит, — заторопился Джабадари. — Устроим так, чтобы завтра сюда пустили Софью. Вместе с нею и составим план наших речей. Понятно? Только, товарищи, условимся: не признавать устава, который они нашли у Здановича. Ником образом не признавать! Понятно? Это отнимет у суда самый сильный козырь к обвинению. Мы не организация! Мы революционеры, но не организация! Понятно?

— Хорошо, — согласился Алексеев и после паузы добавил: — Помните, товарищи, как в «Манифесте Коммунистической партии» сказано? «Пора уже коммунистам перед всем миром открыто изложить свои взгляды, свои цели, свои стремления...» Вот и изложим...

Вернувшись в камеру, Петр Алексеевич стал составлять свою будущую речь. Работа не клеилась. Мыслей было много, но они разбегались: отвлекал топот солдатских ног в коридоре, перестук арестантов, звяканье ключей и частые свистки часовых. Петр Алексеевич не мог найти первой фразы, первого образа, который, подобно поводырю, повел бы за собою остальные мысли.

Дня через два зашел в камеру цирюльник с воли. Мальчонка лет восьми-деяти нес за ним ящичек с инструментами.

Алексеев присмотрелся к мальчику: худенький, сероглазый. Вот таким заморышем пришел он сам в Москву...

И в мыслях Петра Алексеевича сложилась первая фраза: образ мальчика, которого родители спровадили в город на заработки.

Написав первую фразу, Алексеев отложил перо. Он вспомнил спор, завязавшийся между Бардиной и Джабадари. «Россия, — говорил Иван Джабадари, — страна мужицкая, и поэтому Алексею, обездоленному мужику, надо на суде говорить о мужиках, об их тяжелой доле». Софья Бардина предлагала другое. «Алексеев, — сказала она, — рабочий, и говорить он должен о положении рабочих».

«Софья права! — воскликнул тогда Семен Агапов. — Мы пролетарские пропагандисты и в первую очередь боремся за рабочее, пролетарское дело. Какая цель наших выступлений на суде? Мы должны показать господам судьям, что «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма».

Петр Алексеевич знал, что ни Софья Бардина, ни Джабадари не будут защищаться на суде: окруженные жандармами, они будут пропагандировать свои идеи. Но какие идеи? Бардина и Джабадари — оба они народники, но уже не единомышленники.

Когда Николай Васильев предложил поднять восстание и учинить в Кремле «суд всенародный», Джабадари проговорил возмущенно: «Ты с ума сошел!..» А Софья Бардина вся расцвела и каким-то радостным, мечтательным голосом сказала: «Но мы же к этому идем».

Двумя жирными линиями подчеркнул Алексеев выведенные им большими буквами слова: «Миллионы людей рабочего населения».

— Нас миллионы! — сказал он вслух. — Только слепые нас не видят.

Алексеев торопился, писал, переписывал. На прогулку он выходил не только для того, чтобы подышать морозным воздухом, но и для того, чтобы показать написанное товарищам.

Петра Алексеевича вызвали в контору. За столом сидел пожилой человек. Сухощавое лицо его было усталым, глаза смотрели озабоченно и приветливо.

— Давайте, Петр Алексеевич, знакомиться. Оль-хин моя фамилия. Александр Александрович Ольхин, Я ваш защитник.

— Стоит ли меня защищать? — чуть-чуть пренебрежительно откликнулся Алексеев.

И слова и тон обидели адвоката.

— Жизнь вам надоела? Или тюремная похлебка показалась сладкой? Вы понимаете, что говорите? Или хотите, чтобы вас загнали, куда Макар

телят не гонял? Рабочий, не переодетый студент, а всамделишный рабочий — и против царя пошел! — Адвокат перелистал «дела», прочитал: — «Петр Алексеев, придя к нему с каким-то неизвестным ему человеком, вызвал его в трактир и передал «Сказку о четырех братьях», советуя ее прочесть. Затем по показанию рабочего Филиппа Иванова тот же Петр Алексеев передал ему, Иванову, «Хитрую механику» и «Емельяна Пугачева». — Адвокат отложил дело, посмотрел на Алексеева: — И все же, Петр Алексеевич, дела ваши не плохи. Да, вы передавали вредные, как выражается следовательно, книжки. Но кому вы их передавали? Своим друзьям. Не «распространяли», а давали своим друзьям читать свои книжки. Понятно, Петр Алексеевич? Вам надо на процессе держаться в тени. Спросят — скажите: «Да, давал книжки, но что я, малограмотный рабочий, в этих книжках понимаю!» — Спросит судья: «Где вы брали эти книжки?» — «На фабрике, господин судья, они на окне валялись». Судьи заинтересованы в том, чтобы вас вытолкнуть из процесса. Они хотят убедить общество, что у нас рабочие не бунтуют. А нам с вами это на руку.

Алексеев подвинулся к столу и, глядя в глаза адвокату, тихо спросил:

И вы бы уважали человека, который бросает друзей, чтобы спасти свою шкуру?

— Кто вам предлагает бросать!

— А молчание разве не дезертирство? Мои друзья будут защищать не себя, а наше дело, а я вместо того, чтобы их поддержать, увильну?

Адвокат поднялся. Он подошел к окну, налил себе содовой воды из бутылки, стоявшей на подоконнике, выпил. Вернулся к столу, сказал устало:

— Вы, по всей вероятности, слышали, что Ольхин имеет кое-какое отношение к делу, за которое вы сидите в тюрьме. Так что толкать революционера на дезертирство я не стану. Но, Петр Алексеевич, сейчас идет спор о вашей голове. Тихо поведете себя на суде — отделаетесь легким наказанием. Поднимете голову — вас на каторге сгноят.

— А вы не знаете, кто из студентов будет выступать?

Алексеев задал этот вопрос с умыслом: он не только знал, кто будет выступать, но и участвовал в разработке плана всех речей; теперь же хотел проверить: верно ли все то хорошее, что говорят об Александре Александровиче Ольхине.

— Если вы забыли, — улыбнулся адвокат, — я вам напомню. Речь Бардиной вы читали, речь Здановича вы читали... — И не без ехидства добавил: — А вашу речь я тоже читал. Кстати, Петр Алексеевич, вы сами сочинили эту речь или студенты ее для вас написали?

Алексеев покраснел и, задыхаясь от волнения, еле выжал из себя:

— Нет! Этой чести я никому не уступлю!

Адвокату стало неловко. Он сказал сконфуженно:

— Простите, Петр Алексеевич. Но вы своей речью никому не поможете, а себя погубите.

Алексеев и сам знал, что ему, рабочему, не простят революционного выступления на суде; он знал еще и то, что человеку, сидящему сейчас против него, дороги люди, отдавшие свои силы революционному делу, поэтому решил Петр Алексеевич оправдать перед Ольхиным свое упорство. Он положил свою огромную ладонь на руку адвоката и, от волнения немного заикаясь, промолвил:

— Уважаемый господин Ольхин, какой смысл имеет защита, когда всякому известно, что приговор суда составляется заранее? Царский суд — это комедия. Защищайся, не защищайся — все равно.

— Верно, Алексеев, — подхватил адвокат. — К нашему стыду, к нашему горю, это непреложная истина. Но ваши слова относятся к тем, которых суд считает главными преступниками. А вы среди них, к счастью для нас с вами, не числитесь.

На лице Алексеева появилась горькая улыбка.

— Я не числюсь среди главных? Нет, уважаемый господин Ольхин, именно я, рабочий, самый главный на этом процессе! И должен сказать все, что к рабочему сердцу приросло. Я, ткач, должен крикнуть на всю Россию: рабочий класс пробуждается!

Адвокат понял: ему не уговорить Алексеева.

Ему, Ольхину, было больно: чудесный человек погибнет, и в то же время сжималось сердце от радости: несдобровать царю, если среди рабочих уже появились такие, как Алексеев.



Петр Алексеев во время отбывания каторги.



Бюст Петра Алексеева.

Подсудимых было пятьдесят. Их выстроили по двое. Между каждой парой поставили жандарма с обнаженной шашкой и под командой офицера повели подземными ходами, соединявшими дом предварительного заключения с окружным судом.

Двухсветный зал. По-зимнему серо.

Подсудимые сидят на скамьях, расположенных уступами. В зал входят «почетные» гости — один другого дряхлее, все в золоте, с брильянтовыми звездами. Они садятся позади кресел для суда.

Джабадари многих знал по фотографиям в журналах.

— Смотри, Петр Алексеевич, кто к нам пожаловал. Крайний, толстенький — князь Горчаков, канцлер. Рядом с ним — министр юстиции граф Пален. Его отец принимал участие в убийстве царя Павла. Красноносого видишь? Это принц Ольденбургский...

На хорах затопали десятки ног: пустили публику.

Зажгли лампы.

— Встать! — раздалась громкая команда. — Суд идет!

Гуськом, соблюдая старшинство, потянулась к длинному столу судейская коллегия. У каждого своя особенность: один сутулится, другой на ногу припадает, третий семенит мелкими шажками; но когда судьи опустили в кресла и придвинулись к столу, все стали на одно лицо: тусклые и равнодушные. Высокое председательское кресло занял первоприсутствующий сенатор Петерс. Череп голый, лицо длинное, зубы большие, лошадиные, глаза колющие. Утром он сказал своему другу — сенатору:

— Вот еду судить этих мерзавцев, что с книжками попались.

— Нелегко вам будет.

— Отчего? У прокурора все уже по полочкам разложено: тому столько, этому столько.

— Мало что прокурор разложил: ведь они защищаться будут.

— А я им не дам рта раскрыть.

И судей министр юстиции Пален подобрал под стать председателю. Сенатор Тизенгаузен! В молодости он считался «красным», даже читал герценовский «Колокол», в год суда, в 1877 году, поэт Боровиковский сделал такую подпись под портретом «красного» Тизенгаузена:

Он был горячим либералом...

Когда б, назад пятнадцать лет,

Он чудом мог полюбоваться

На свой теперешний портрет?!

Он даже в спор с ним не вступил бы,
Сказал бы крепкое словцо,
И с величайшим бы презрением
Он плюнул сам себе в лицо.

Второй «беспристрастный» судья — сенатор Хвостов. Накануне процесса он встретил прокурора Анатолия Федоровича Кони.

— Как я рад, что вас вижу! Мне хочется спросить вашего совета: ведь дело-то очень плохо!

— Какое дело?

— Да процесс пятидесяти. Я назначен в состав присутствия и просто не знаю, что делать: ведь против многих нет никаких улик. Как тут быть, а? Что вы скажете?

— Коли нет улик, так оправдать — вот что я скажу.

— Нет, не шутите. Я вас серьезно спрашиваю: что нам делать?

— А я серьезно отвечаю: оправдать!

— Ах, боже мой, я у вас прошу совета, а вы мне твердите одно и то же: оправдать да оправдать. А коли оправдать-то неудобно?

— Вы — сенатор, судья, как можете вы спрашивать, что вам делать, если нет улик против обвиняемого, то есть если он не виновен? Разве вы не знаете, что единственный ответ на этот вопрос может состоять лишь в одном слове «оправдать»? И какое неудобство может это представлять для вас? Ведь вы не административный чиновник, вы — судья, вы — сенатор.

— Да, хорошо вам так вчуже-то говорить, а что скажет граф Пален!

Министр юстиции граф Пален подобрал и соответствующего прокурора — Жукова: пьяницу, кутилу, человека без чести и без совести. Любопытно, что в одном и том же номере «Правительственного вестника» были напечатаны о Жукове два «высочайших указа». Один — над Жуковым учреждается опека ввиду того, что ему нельзя доверить управление своим имуществом; другой — Жуков назначается прокурором в «процессе 50-ти». Человек столь распутный, что пришлось его лишить права распоряжаться своим имуществом, оказался, по убеждению графа Палена, вполне подходящим, чтобы вручить ему судьбу стольких людей.

По правую руку председателя разместились Похвистнев — он все время двигал челюстями, точно жевал, Ренненкампф — с квадратным лицом откормленного бульдога и Неелов — с умильной улыбкой на губах. По левую руку — Тизенгаузен и Хвостов, оба с бакенбардами под царя: у Тизенгаузена — жидкие и ярко-рыжие, у Хвостова — пушистые, сизые.

Позади сенаторов расположились сословные представители: предводители дворянства Неплюев и Сназин-Тормасов, псковский городской голова Судгоф и стародеревенский волостной старшина Лукьянов — старик с белой окладистой бородой. За их спинами — огромный, во весь рост портрет царя.

Вплотную к скамьям подсудимых примыкали места защиты.

Рассаживались не спеша. Обвинительный акт читали долго и монотонно. Князья и графы с презрением рассматривали лица подсудимых. Много девушек! Студентки!..

«Фричи» сидели все вместе, прижавшись друг к дружке, как сидели в Швейцарии.

Алексеев думал о своем. Народ собрался разный. Внизу — сенаторы и министры, наверху — мужчины в потертых пиджаках, женщины в простеньких платочках и стареньких шляпках. Сенаторы и министры смотрят нагло, а если заглянуть в их сердца — кошки скребут! Непокойно на душе у всех этих титулованных и сановных холопов... Непокойно в России: участились стачки на заводах, крестьяне все настойчивее требуют нового передела земли... Об этом часто говорили в тюрьме. А там, на хорах? Многие слушают с волнением в сердце. Там — друзья. Сочувственно смотрят они на скамьи обвиняемых, где томятся их родичи, знакомые, близкие им люди.

Петр Алексеевич вдруг потянул за рукав сидящего рядом Агапова:

— Посмотри, и рабочие пришли.

Агапов украдкой глянул вверх: в первом ряду рядышком сидели знакомый краснодеревец Степан Халтурин и студент Александр Михайлов, — они прошли по пропускам, напечатанным Осинским. Глаза Халтурина лихорадочно поблескивали.

Говорит прокурор Жуков. Волос к волосу приглажен, воротничок блестит, как снег на солнце. На животе тонко звенят золотые брелоки.

— Несмотря на значительное количество фабрик, на которых распространялись книги преступного содержания, в числе подсудимых находится вообще весьма мало крестьян.

Джабадари, зная, что прокурор под «крестьянами» подразумевает рабочих, склонился к Петру Алексеевичу:

— Подумай, Петр: может, не стоит тебе выступать? Прокурор тебя выгораживает.

— Подумаю, Иван, — глухо ответил Алексеев, бросив быстрый взгляд в сторону хоров.

И Петру Алексеевичу показалось, что Халтурин дружески кивнул ему

головой.

Девятое марта 1877 года — семнадцатый день суда, а конца еще не видно: обвиняемых пятьдесят, адвокатов пятнадцать, семьдесят три свидетеля да прокурор, и все говорят пространно, обстоятельно. На хорах тесно; князей и генералов. тоже стало больше. Петерс все чаще оглядывает ряды подсудимых. Во всем чувствуется напряженность: даже невозмутимый кутила прокурор стал нервничать, бросать очки на стол; министр Пален дважды и достаточно громко сказал «медведь», и первоприсутствующий сенатор Петерс знает, что это обидное слово было произнесено по его адресу; князь Мингрельский сегодня утром не без ехидства спросил: «До пасхи закончите, ваше высокопревосходительство?»

«Какой необычный народ на скамьях подсудимых! — думает Петерс. — Девушки — миловидные, красивые — слушают внимательно и вдумчиво, словно слушают лекцию в университете. Какое одухотворенное лицо у Лидии Фигнер... Какая красивая головка у Медведевой... Какие очаровательные все три сестры Субботины... Только вот эта, Любатович Ольга, смотрит вызывающе из-под синих очков. У Каминской крупный рот, глаза умные... А Бардина — прелесть: оригинальное личико и уютная, материнская улыбка... Что общего у этих воспитанных, образованных девушек с таким мужиком, как Алексеев? Он сидит сыч сычом, дергает себя за бороду. Или вот этот мужичок — Иван Баринов: глазки маленькие, волосы взъерошены, и усы свисают, как крысиные хвосты. Чем-то он похож на Джабадари... только нос вот картошкой.

Петерс посмотрел в зал: почему вдруг так тихо стало? Прокурор, оказывается, закончил свою речь и протирает платком стекла очков.

— Подсудимый... Подсудимый... — растерянно начал Петерс.

На листке, лежавшем перед ним, значился на первом месте Петр Алексеев.

Петерс — опытный судья; в первый же день он понял, что именно Алексеев доставит суду большие неприятности. Он готовит что-то, что-то дерзкое.

Да, Петерс не ошибался: Петр Алексеев готовился к бою. Он решил вести упорную, последовательную борьбу.

Осведомитель Третьего отделения в отчете царю о первом дне процесса с тревогой писал: «Подсудимый крестьянин Алексеев... встал и объявил, что он отказывается как от защиты, так и от дачи каких бы то ни было показаний настоящему суду, который заранее составляет свой приговор».

Алексеев отказался от защиты потому, что хотел использовать свое

последнее слово для изложения своей идейной программы, а своим нежеланием давать показания он хотел дискредитировать суд, показать, что он ему не верит, не считает его правомочным. На обычный вопрос председательствующего Петерса, признает ли он себя виновным в приписываемых ему преступлениях, Алексеев ответил:

— На предположения составителя обвинительного акта и на ваши я не желаю давать никаких ответов.

Многоопытный Петерс понял, какой бунтарский смысл кроется в этой хорошо организованной фразе, и поэтому тут же поспешил сгладить ее впечатление:

— Вы могли сказать просто, что не признаете себя виновным.

Алексеев насмешливо улыбнулся, и Петерс понял, что перед ним смелый убежденный враг.

— Подсудимая Бардина, — сказал Петерс раздраженно.

Софья Бардина вышла не спеша. Движения плавные, спокойные.

— Не отрицая факта пропаганды на фабрике Лазарева, я никак не могу согласиться с обвинением... — Бардина говорила высоким и певучим голосом. — Если бы тот идеальный общественный строй, о котором мы мечтаем, мог быть осуществлен без всякого насильственного переворота, то, конечно, мы все были бы рады этому от души...

Она говорила непринужденно, как говорят о самых невинных вещах, как беседуют с близкими. Просто, скромно отводила она обвинения прокурора, и ее скромность обезоруживала сенатора Петерса, не давала ему повода прикрикнуть, оборвать ее речь.

— Но эти рассуждения не идут к делу, — наклонив голову, проговорил Петерс.

Что-то похожее на улыбку появилось на лице Бардиной и тут же исчезло.

— Я ли подрываю основы собственности или фабрикант, который, платя рабочему за одну треть его рабочего дня, две трети берет даром? Или спекулятор, который, играя на бирже, разоряет тысячи семейств, обогащаясь за их счет и сам не производя ничего? — по-прежнему певуче откликнулась она. — Меня обвиняют в возбуждении к бунту, но я полагаю, что революция может быть только результатом целого ряда исторических условий, а не подстрекательством отдельных личностей...

Она говорила сдержанно, без пафоса, без жестов, но говорила тепло, убежденно, словно у себя дома со своими подругами, объясняя им трудное место из книги.

— Если государства разрушаются, то это обыкновенно происходит

оттого, что они сами в себе носят зародыши разрушения...

Слова Бардиной звучали с необычной ясностью. Сенаторы и министры шипели.

— Я убеждена, — продолжала Бардина, чуть повысив голос, — еще в том, что наступит день, когда даже и наше сонное и ленивое общество проснется, и стыдно ему станет, что оно так долго позволяло безнаказанно топтать себя ногами...

На хорах кто-то всплакнул. Петерс схватился за колокольчик. Один из защитников выронил из рук книгу; она упала, гулко прогремев в притихшем зале, словно выстрел.

— За нами сила нравственная, — опять послышался певучий голос Софьи Бардиной, — сила исторического прогресса, сила идеи, а идеи, — добавила она, склонившись в сторону Петерса, — увы, на штыки не улавливаются...

Бардина уже закончила свою речь, но ее чистый голос еще звучал в зале. Сенаторы вросли в спинки своих кресел. Лошадиное лицо Петерса побагровело, на лысине выступила испарина.

— Агапов! Подсудимый Агапов! — выкрикнул он, задыхаясь.

Поднялся Семен Иванович. В его ушах еще звучала речь Бардиной. Может ли он что-нибудь добавить к этой речи? Да, он обязан! Во всей ее речи слышалось предупреждение: трепещите, царские слуги, на вас надвигается призрак коммунизма! Но о рабочих Бардина ничего не сказала.

— Господа судьи, я рабочий! Я с малолетства жил на фабриках и на заводах. Я много думал о средствах улучшить быт рабочих и, наконец, сделался пропагандистом... Я исполнил свой долг — долг честного рабочего, искренне, всей душой преданного интересам своих бедных, замученных братьев...

Рука Петерса сорвалась со стола. Его губы искривились в усмешке. Глядя мимо Агапова, он проворчал:

— Зданович! — Но так же, не дав и Здановичу закончить речь, крикливо бросил:

— Садитесь! Алексеев!

Тяжело ступая, поднялся Петр Алексеевич к месту, отведенному для подсудимых. Мощная фигура в белой рубашке навыпуск, голова с шапкой черных волос, смуглое лицо, курчавая борода. Он повернулся лицом к судьям и начал ровным, спокойным голосом:

— Мы, миллионы людей рабочего населения, чуть только станем сами ступать на ноги, бываем брошены отцами и матерями на произвол судьбы, не получая никакого воспитания, за неимением школ и времени, от

непосильного труда и скудного за это вознаграждения. Десяти лет — мальчишками — нас стараются проводить с хлеба долой на заработки. Что же нас там ожидает? Понятно, продаемся капиталисту на сдельную работу из-за куска черного хлеба; поступаем под присмотр взрослых, которые розгами и пинками приучают нас к непосильному труду; питаемся кое-чем; задыхаемся от пыли и испорченного, зараженного разными нечистотами воздуха. Спим где попало — на полу, без всякой постели и подушки в головах, завернутые в какое-нибудь лохмотье и окруженные со всех сторон бесчисленным множеством разных паразитов... Вот что нам, рабочим, приходится выстрадать под ярмом капиталиста в этот детский период! И какое мы можем усвоить понятие по отношению к капиталисту, кроме ненависти?

Алексеев посылал свои слова то вверх, на хоры, то бросал их судьям. Он торопился, точно не верил, что ему дадут закончить речь.

На хорах сидели в неловкой позе, свесившись за перила. Члены суда скукаяюще смотрели в потолок; один только Ренненкампф злобно уставился на Алексеева.

Петерс, держа в руке колокольчик, с нетерпением следил за Алексеевым, готовый, как пожарный, забить тревогу при вспышке первой искры.

Алексеев все это видел. Он говорил не особенно громко, но с возмущением человека, вынужденного рассказать о подлых деяниях подленьких людишек.

— Взрослому работнику заработную плату довели до минимума. Из этого заработка все капиталисты без зазрения совести стараются всевозможными способами отнимать у рабочих трудовую копейку и считают этот грабег доходом. Рабочий отдается капиталисту на задельную работу, беспрекословно и с точностью исполнять все рабочие дни и работу, для которой поступил, не исключая и бесплатных хозяйских чередов. Рабочие склоняются перед капиталистом, когда им па праву или не по праву пишут штраф, боясь лишиться куска хлеба, которой достается им семнадцатичасовым дневным трудом...

Петерс отнял пальцы от колокольчика и облегченно вздохнул: «Чем пугал меня прокурор? Мужичок свои обиды вспоминает. Пусть вспоминает».

Вздох Петерса долетел до Алексеева. Он склонился над столиком и спокойно продолжал:

— Впрочем, я не берусь описывать подробности всех злоупотреблений фабрикантов, потому что слова мои могут показаться неправдоподобными

для тех, которые не хотят знать жизни работников и не видели московских рабочих, живущих у знаменитых русских фабрикантов: Бабакина, Гучкова, Бутикова, Морозова и других...

Петерс оживился:

— Это все равно, вы можете этого не говорить.

Алексеев провел рукой по столику, выдвинулся немного вперед и после паузы сказал с горечью:

— Да, действительно все равно — везде одинаково рабочие доведены до самого жалкого состояния. Семнадцатичасовой дневной труд — и едва можно заработать сорок копеек. Это ужасно! — выкрикнул он, но тут же, точно вспомнив что-то, опять успокоился. — При такой дороговизне съестных припасов приходится выделять из этого скудного заработка на поддержку семейного существования и уплату казенных податей. Нет! — стукнул Алексеев по столику, и горящие глаза его преследовали Петерса. — При настоящих условиях жизни работников невозможно удовлетворить самые необходимейшие потребности человека...

Петр Алексеев круто повернулся к скамьям знати и, подняв свой большой кулак, угрожающе произнес:

— Пусть пока они умирают голодной, медленной смертью, а мы скрепя сердце будем смотреть на них до тех пор, пока освободим из-под ярма нашу усталую руку и свободно можем тогда протянуть ее для помощи другим!

Он вернулся к столику, задумался и тихо, словно отвечая на какие-то свои мысли, продолжал:

— Отчасти все это странно, все это непонятно, темно и отчасти как-то прискорбно, а в особенности сидеть на скамье подсудимых человеку, который чуть ли не с самой колыбели всю свою жизнь зарабатывал семнадцатичасовым трудом кусок черного хлеба.

Задумчивость сразу спала; он повернул голову к сенаторам и с новой силой сказал:

— Разве у нас учат с малолетства чему-нибудь бедняка? Разве у нас есть полезные и доступные книги для работника? Где и чему они могут научиться? А взгляните на русскую народную литературу. Ничего не может быть разительнее того примера, что у нас издаются для народного чтения такие книги, как «Бова-королевич», «Еруслан Лазаревич», «Ванька-Каин», «Жених в чернилах и невеста во щах». Оттого-то в нашем рабочем народе и сложились такие понятия о чтении: одно — забавное, а другое — божественное. Я думаю, каждому известно, что у нас в России рабочие все еще не избавлены от преследований за чтение книг, а в особенности если у

него увидят книгу, в которой говорится о его положении, — тогда уж держись! Ему прямо говорят: «Ты, брат, не похож на рабочего, ты читаешь книги!» И страннее всего то, что и иронии незаметно в этих словах, что в России походить на рабочего — то же, что походить на животное.

Горькая улыбка, как тень, набежала на лицо Алексеева:

— Господа, неужели кто полагает, что мы, работники, ко всему настолько глухи, слепы, немы и глупы, что не слышим, как нас ругают дураками, лентяями, пьяницами? Что уж, как будто и на самом деле работники заслуживают слыть в таких пороках? Неужели мы не видим, как вокруг нас все богатеет и веселится за нашей спиной? Неужели мы не можем сообразить и понять, почему это мы так дешево ценимся и куда девается наш невыносимый труд? Отчего это другие роскошествуют, не трудясь, и откуда берется ихнее богатство?..

Алексеев повернулся к хорам, встретился с пристальным взглядом Халтурина, с заплаканными глазами какой-то пожилой женщины в платочке.

— Рабочий же народ, хотя и остается в первобытном положении и до настоящего времени не получает никакого образования, смотрит на это, как на временное зло, как и на самую правительственную власть, временно захваченную силой и только для одного разнообразия ворочающую все с лица да наизнанку...

Петр Алексеевич на мгновение запнулся. Пауза показалась Агапову вечностью — он приподнялся. Алексеев это заметил, улыбнулся и, тряхнув головой, продолжал:

— Мы, рабочие, желали и ждали от правительства, что оно не будет делать тягостных для нас нововведений, не станет поддерживать рутину и обеспечит материально крестьянина, выведет его из первобытного положения и пойдет скорыми шагами вперед. — Алексеев умолк, повернулся к хорам. — Но — увы! — если оглянемся назад, то получаем полное разочарование... Девятнадцатое февраля... И что же? И это для нас было одной мечтой и сном!.. Эта крестьянская реформа девятнадцатого февраля шестьдесят первого года — реформа «дарованная», хотя и необходимая, но не вызванная самим народом, не обеспечивает самых необходимых потребностей крестьянина. Мы по-прежнему остались без куска хлеба, с клочками никуда не годной земли и перешли в зависимость к капиталисту... — Голос Петра Алексеевича приобрел металлическую звонкость. — Русскому рабочему народу остается только надеяться самим на себя и не от кого ожидать помощи, кроме от одной нашей интеллигентной молодежи...

Петерс положил руки на стол, крикнул:

— Молчите! Замолчите!

Алексеев тряхнул правым плечом, как бы сбрасывая с него чужую руку.

— Она одна братски протянула нам руку. Она одна откликнулась, подала свой голос на все слышанные крестьянские стоны Российской империи...

Петерс, растерянно оглядывая зал, выкрикивал:

— Замолчите! Я прикажу вас вывести!

Алексеев не обратил внимания на крик сенатора:

— Она одна, как добрый друг, братски протянула к нам свою руку и от искреннего сердца желает вытащить нас из затягивающей пучины на благоприятный для всех стонущих путь. Она одна, не опуская рук, ведет нас, раскрывая все отрасли для выхода всех наших собратьев из этой лукаво построенной ловушки, до тех пор, пока не сделает нас самостоятельными проводниками к общему благу народа. И она одна неразлучно пойдет с нами до тех пор, пока... — Алексеев закинул голову, вытянул вперед руку и, отчеканивая каждое слово, закончил: — Пока подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда...

Петерс вскочил; красный, потный, он заорал:

— Выведите его!

Но истошный возглас Петерса не смутил Петра Алексеевича, наоборот, он сжал свой кулак и угрожающе протянул его к царскому портрету:

— ...и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!

После минутного затишья загрохотало в зале, как в горах во время обвала. Неистово аплодировали на скамьях подсудимых. Защитники, вскочив с мест, разразились оглушительным «браво». На хорах топали ногами, кричали «ура».

Сенаторы и министры, прикрыв ладонями головы, точно внезапно закапало с потолка, бросились гурьбой к выходу. Вслед за ними, подталкивая друг друга, последовали и судьи. Князь Мингрельский, столкнувшись в дверях с Петерсом, любезно уступил ему дорогу и сокрушенно промолвил:

— Ваше высокопревосходительство забыли объявить заседание закрытым...

Петр Алексеевич все еще стоял с поднятой рукой.

К нему ринулись товарищи, поздравляли его, обнимали.

Алексеев не разглядел отдельных лиц — все слилось в его глазах. Только один раз ясно проступило тонкое лицо Бардиной: она плакала. От усталости или от не изжитого еще волнения голос Петра Алексеева неестественно дрогнул, когда он, положив свою огромную руку на руку Бардиной, сказал:

— Успокойтесь, голубушка.

Рачьи глаза Александра II оторопело смотрели с портрета.

Сенаторы и министры быстро справились со своим страхом. Они прогнали народ с хоров, усилили караулы, теснее сомкнули кольцо жандармов вокруг обвиняемых, и Петерс опять уселся в председательское кресло.

Суд продолжался.

Четырнадцатого марта вынесли приговор.

Цицианов, стрелявший во время ареста в офицера, был присужден к 10-летней каторге, остальные приговорены к каторжным работам на сроки не выше шести лет. Алексеев же был приговорен к высшему сроку, к такому же, как и Цицианов.

Десять лет каторжных работ человеку, против которого почти не было улик! Жестоко и незаконно даже для того времени! Десять лет каторги за речь, произнесенную на суде!

Речь ткача Петра Алексеева разнесли по столице. Адвокат Спасович рассказывал вечером в клубе:

— Не только публика и судьи, но даже жандармы окаменели. Я уверен: если бы Алексеев после речи повернулся и вышел, его бы в первую минуту никто не остановил — до того все растерялись.

Ночь провел Алексеев без сна. В отяжелевшей голове его несвязно всплывали обрывки мыслей, бесследно уносясь, как листья во время бури. Но на душе было покойно. Прошлое отошло, а будущее еще не наступило. Это была передышка, мертвый период между бурным, деятельным прошлым и грозным, мрачным будущим.

В камере было уже светло. Солнце прорвалось сквозь решетку.

Бессознательно поддавшись нежной ласке теплых лучей, Алексеев подошел к окну и жадно стал вдыхать утренний воздух.

Свежесть весеннего утра оживила Петра Алексеевича. Тело, так недавно казавшееся разбитым словно тяжелой болезнью, теперь выпрямилось. И когда в коридоре раздался возглас: «Кипяток!» — в лице Алексеева уже трудно было подметить следы пережитого волнения.

К обеду опять ворвалась в его камеру живая жизнь — та жизнь, которая в его сознании уже теплилась, как далекое воспоминание.

Раскрылась дверь, и в камеру вошел смотритель тюрьмы. Он положил на стол конторскую книгу и, подавая Алексееву карандаш, сказал:

— Тут нужно расписаться.

— В чем расписаться?

— В получении пакета.

Смотритель достал из книги большой продолговатый конверт из белой плотной бумаги. Бисерным женским почерком было написано:

«Тюрьма, что на Шпалерной, господину Алексееву Петру Алексеевичу от Некрасова Николая Алексеевича».

Алексеев, прочитав написанное, удивленно взглянул на смотрителя.

— Знакомец? — спросил тот.

Алексеев не ответил, он достал из конверта твердый, как картон, листок. Старческой или больной — неуверенной, дрожащей — рукой было написано:

Смолкли честные, доблестно павшие,
Смолкли их голоса одинокие,
За несчастный народ вопиявшие,
Но разнузданы страсти жестокие.
Вихорь злобы и бешенства носится
Над тобою, страна безответная.
Все живое, все доброе косится...
Слышно только, о ночь безрассветная,
Среди мрака, тобою разлитого,
Как враги, торжествуя, скликаются,
Как на труп великана убитого
Кровожадные птицы слетаются,
Ядовитые гады сползаются!

— Говорят, умирает Некрасов, — сказал смотритель.

— Умирает?! Николай Алексеевич!..

— Так говорят. — Смотритель подошел к двери, крикнул в коридор: — Фролов, скажи, чтобы вносили!

Надзиратель принес тяжелые корзины: фрукты, колбасы, торты, конфеты, папиросы, сигары, цветы.

После первых корзин вносили еще и еще...

Алексеев смотрел на груды соблазнительно-вкусной снеди, лежавшей на столе, на койке, на табурете. Из глаз его текли слезы, а губы беззвучно

шептали:

Смолкли честные, доблестно павшие,
Смолкли их голоса одинокие...

Нет, не смолкли голоса одинокие! Текст речи Петра Алексеева, тайно отпечатанный различными революционными группами, разошелся в тысячах экземпляров; и как камень, брошенный в воду, рождает все увеличивающиеся круги, так и эта речь родала отзвуки в самых отдаленных местностях необъятной России.

Речь Петра Алексеева стала знаменем, вокруг которого собираются бойцы для атаки; она стала набатом, зовущим в бой за правое дело; она стала программой для целого поколения молодежи — их убедило мужество Петра Алексеева, молодежь поверила, что «ярмо деспотизма разлетится в прах»!

Революционизирующее действие речи было так велико, что государственный канцлер князь Горчаков именно из-за нее объявил «устройство публичного и гласного процесса» непростительной ошибкой.

Монотонно текла жизнь Петра Алексеева. Он читал, шагал вдоль своей узкой клетки. Когда его обостренный слух улавливал какие-нибудь новые звуки, он останавливался, ожидая чего-то, уставясь на оконце в двери. Но проходила минута за минутой, звуки, вызвавшие его настороженность, замирали, и Алексеев опять принимался ходить мерными шагами.

Ему хотелось глубже поразмыслить над основами жизни. Он рано понял, что все жизненное зло проистекает от людской темноты и что темнота народа на руку угнетателям. Просветить народ, объяснить ему причину жизненного зла — вот задача, которую он поставил перед собой. А чего достиг? К сожалению, Алексеев рано попал под колеса царской машины, но и в короткий срок своей деятельности он кое-что сделал. Не в один десяток сердец он заронил ненависть к угнетателям.

Но это еще не все: громко, на всю страну, он сказал угнетателям, что они враги народу и что рано или поздно обрушится на их голову рабочий

кулак. Он вселил в душу угнетателей страх, а товарищи, оставшиеся на воле, сумеют использовать этот страх для народного дела.

«Товарищи, оставшиеся на воле»... Каждый раз, когда он думает о них, встает перед глазами Прасковья — девушка с большими серыми глазами, тяжелой косой и материнским сердцем. Она была всем: кухаркой для «коммунаров», матерью для бездомных детей, а для него, для Петра Алексеева, бесконечной радостью. В те скупые недели их дружбы ему казалось, что из-за горизонта уже проглядывает новая жизнь и что он с Прасковьей идет в этот новый мир, чтобы жить там, никогда не расставаясь.

До нового мира они не дошли: он ждет отправки на каторгу, а она...

Но это только остановка. Надо сохранить в сердце облик Прасковьи и ее теплоту! Надо готовиться к встрече с нею, чтобы при первом свидании не затуманились глаза, не дрогнул голос!

Жарко, душно. Алексеев стоит у окна.

Несколько ласточек реют в поднебесье. Вдали дымят фабричные трубы. Ослепительно сияет золото на высокой колокольне. Бесконечные ряды крыш: зеленых, красных, серых. По тюремному двору гуляют арестанты; многие босиком, в одном белье. На площадке — надзиратели. Один из них смотрится в маленькое зеркальце.

Вдруг шум. Худой, как палка, генерал с седыми обвислыми усами кричит сдавленным, злобным голосом:

— Так ты не хочешь мне кланяться? Ты не знаешь, кто я?!

Перед ним стоит студент. Форменная фуражка сдвинута на затылок, тужурка накинута на левое плечо. Его лицо пылает.

Мелькнула в воздухе рука генерала, и фуражка слетела с головы студента.

Юноша остолбенел. Он смотрел на генерала широко раскрытыми глазами.

И это безмолвие жертвы привело генерала в неистовство; он дико заорал:

— Розог!

Надзиратели накинулись на студента, потащили его в контору. Особенно усердствовал тот, что смотрелся в зеркальце: он таскал студента за волосы.

Прошла минута-две, и тюрьму, словно громом, потрясло: в камерах били ногами в дверь, гремели чайниками, ломали столы, выбивали окна, и в этом хаосе резких звуков слышалось одно только слово: «Палачи! Палачи!»

Алексеев долго не мог успокоиться. Все, что можно было разрушить, он разрушил: табурет и стол — в щепы, оконное стекло — вдребезги.

Он присел на край кровати и задумался. Все камеры в разгроме. Но борьба ли это? Неужели могут революционеры защищать свое человеческое достоинство битьем стекол?..

Много месяцев спустя Петр Алексеевич понял, почему «битье стекол» 13 июня вызвало у него тяжелое раздумье. Студент Боголюбов не заметил градоначальника Трепова, да если бы и заметил, то какое дело ему, осужденному на каторгу человеку, до разгуливавшего по тюремному двору генерала? Царский любимец Трепов не стерпел невнимания к себе. Он приказал высечь студента Боголюбова. Тюрьма ответила на розги битьем стекол, молодежь на воле ответила выстрелом Веры Засулич, а Россия — оправдательным приговором: суд как бы благословил те две пули, которые Вера Засулич всадила в грудь царского любимца Трепова.

Но Петр Алексеевич не оправдывал выстрела Веры Засулич. Ему не жалко было генерала, гроша ломаного не отдал бы, если бы от этого зависела жизнь Трепова, только стрелять в него не стал бы Петр Алексеев. Стрельбу в царских приспешников считал он неревolutionционным делом!

Декабрьским утром 1877 года Алексеева повели в контору. Там собрались офицеры, судейские в штатском и кузнец, державший в руке небольшой молот. У двери торчал усатый жандарм.

— Садись на пол, — тихо сказал кузнец, когда Алексеев поравнялся с ним.

Алексеев опустился на пол.

Кузнец молча, с лицом угрюмо-сосредоточенным придвинул к себе наковальню, достал откуда-то кандалы и приступил к работе. В комнате было тихо, и в этой тишине с необычайной резкостью звучал стук молота о наковальню.

— Встань, — промолвил кузнец, когда кандалы были заклепаны.

Алексеев встал, растерянно улыбнулся и сказал:

— Неловко.

— Привыкнешь, — шепотом откликнулся кузнец и виновато, с опущенными глазами, добавил: — Все привыкают.

И Алексеев понял, что среди всех собравшихся в этой мрачной комнате единственный он, кузнец, ему сочувствует.

— Коваленко! Прими! — бросил один из офицеров.

Усатый жандарм подошел к Алексею и, глядя куда-то вбок, буркнул сиплым голосом:

— Пошли.

Петра Алексеевича отправили обратно в камеру. Непрерывный звон кандалов будил его по ночам, непривычная тяжесть мешала ему двигаться, думать...

В последних числах декабря, около десяти часов утра, повезли Петра Алексеева в пересыльную тюрьму. День был снежный, стекла тюремной кареты покрылись лапчатым узором.

Вдруг карета остановилась. Офицер, сопровождавший арестанта, раскрыл дверцу.

Алексеев выглянул. Они на Литейном проспекте. Улица запружена народом. Конные жандармы, заснеженные и похожие на мраморные монументы, насаждают на толпу, отжимают ее к Бассейной. Алексею бросилось в глаза обилие цветов. Люди стояли так тесно, что им пришлось держать цветы в вытянутых вверх руках. И еще успел заметить Алексеев: толпа состояла почти из одной молодежи. Вдали, на Бассейной, кто-то произносил речь; где-то рядом вскрикнула девушка; четко прозвучала солдатская ругань.

— По какому случаю народ собрался? — справился офицер у подскочившего на рысях жандарма.

— По случаю похорон, ваше высококородие!

— А кто помер?

— Сочинитель Некрасов, ваше высококородие!

— Некрасов помер?! — воскликнул Алексеев.

В этом выкрике слышалась такая боль, что офицер, повернувшись, сначала недоуменно взглянул на арестанта и лишь потом, нагло ухмыляясь, издевательски промолвил:

— Вы интересуетесь и поэзией?

Ответа на свой вопрос офицер и не ожидал. Он крикнул кучеру:

— Пошел в обход! — и захлопнул дверцу.

Петру Алексеевичу тяжело. Сердцу тесно в груди, ком стоит в горле.

Иди в огонь за честь отчизны,
За убеждение, за любовь...
Иди и гибни безупречно.
Умрешь не даром: дело прочно,

Когда под ним струится кровь.

«И поэт, написавший эти слова, ушел из жизни!.. — подумал Алексеев. — Ушел из жизни тот поэт, который, умирая, прислал в тюрьму прощальное слово! «Я с тобой, Петр Алексеев», — хотел он сказать».

Тут же родилась новая мысль: «Но этот же поэт, этот друг угнетенных сказал еще и другое:

Покажет Русь, что есть в ней люди,
Что есть грядущее у ней.

— И я еще буду бороться за это грядущее! — сказал Алексеев вслух, чем опять вызвал усмешку офицера.

Приговор суда гласил: «...сослать на каторжные работы в рудниках...», но Александр II из страха перед революцией изменил приговор суда и 3 июня «лично» распорядился не отправлять Петра Алексеева в Сибирь, а упрятать его в самую строгую, Ново-Белгородскую, каторжную тюрьму «с содержанием в одиночном заключении».

В конце декабря 1877 года захлопнулись за Петром Алексеевым ворота Ново-Белгородской тюрьмы.

Узкая и низкая камера, вечный сумрак и тишина гроба. Книг не давали, на работы не посылали. В камере запрещалось петь, говорить вслух и даже греметь кандалами.

За долгие тюремные годы Алексеев успел свыкнуться с одиночеством. У него отняли живой мир с его красками, звуками, но не лишили способности мыслить. Для него создали своеобразную форму жизни, и он к ней приспособился.

В Бутырках Алексеев много читал, горячо веря, что эти познания ему пригодятся в будущей деятельности. Перестук человеческих пальцев заменял ему в одиночной камере «предварилки» живое общение с товарищами. Там он готовился к выступлению на суде, там он жил жизнью своего политического героя, от имени которого предъявлял счет царскому правительству. А тут, в каторжной тюрьме, Алексеев вдруг убедился, что для него, заживо похороненного, самое опасное, самое страшное — думать. Мозг, работающий впустую, доводит до сумасшествия.

Алексеев знал, что за пропаганду революционных идей ему уготованы и цепи и муки, но его угнетало несоответствие между тюремными муками

и ничтожными сроками его деятельности. Он, в сущности, лишь готовился к работе, он только сжал руку в кулак, и за это его осудили со средневековой жестокостью. Вечный полумрак, неустанная тупая боль голодного желудка, мучительный сон на голых досках, скорченные, опухшие от цепей и одеревеневшие от холода ноги и руки — и ни клочка соломы под ноющим телом. Когда ночью становилось невтерпёж от стужи, Алексеев вскакивал со своего жесткого ложа и пускался вприпрыжку по камере, поддерживая кандалы, чтобы не греметь.

В Ново-Белгородской каторжной тюрьме было так плохо, что даже один из самых свирепых жандармов, генерал-майор Ковалинский, писал в своем донесении: «Я позволю себе доложить, что одиночное заключение, грубая, непитательная пища, отсутствие занятий и движений, видимо, уничтожают самое сильное здоровье заключенных».

Проходили недели, месяцы. Алексеев мало-помалу терял ощущение времени. Изредка врывались в мертвые, беззвучные сумерки бессвязные крики — это очередной узник сходил с ума.

Алексеев до крови закусывал губу. Он не чувствовал злобы против своих тюремщиков: разве можно сердиться на клопа за то, что он сосет человеческую кровь, — такова его природа. Тюремщиков можно только презирать. Но в эти минуты Алексеев мучительно переживал свою беспомощность. Войти бы в камеру к товарищу, у которого ум начинает мутиться, сесть рядом с ним, прижать к себе: «Родной, мы с тобой еще молоды, пусть нас кусают «клопы», но мы с тобой все же выйдем на волю. И ветерок нас обвеет, и солнышко пригреет, и любимая улыбнется. Бери себя в руки, родной, ты должен жить, ты должен выжить!»

Но выйти из камеры нельзя. Чаще слышна возня в соседних камерах: уже буйствуют справа и слева.

Товарищей становилось все меньше и меньше; и сам Алексеев чувствовал, что и на него надвигается какое-то оупение, апатия; часами он не отходит от окошка, хотя оно упирается в высокий забор. Смутные и мрачные мысли толпятся в голове...

Из задумчивости вывел его стук отворившейся форточки. Показалось добродушное лицо «хохла», единственного человека среди тюремщиков.

— Слышь, — зашептал он, — сегодня последний номер именинник. Я ему дал бумажки, немного махорочки, и он вам всем сделал по сигарочке. Покури за его здоровье.

Форточка закрылась. Алексеев быстро развернул сигарку. На клочке бумаги было нацарапано: «Нам два исхода: погибнуть медленной, но неизбежной смертью или спасти себя, рискуя умереть сейчас. Наша твердая

решилось умереть, быть может, заставит их задуматься и обратить внимание на наше положение. Если нет, днем раньше, днем позже — все равно, в той или другой форме, близкой гибели не миновать. Начнем же все голодать с завтрашнего утра».

Алексеев зашатался, вынужден был присесть.

— Не хочу, — сказал он шепотом, — не хочу умереть. Мертвые не борются, а я хочу жить, чтобы бороться. Самоубийство — это бегство, это выход для людей, которые потеряли веру в свои силы. Я же верю в свои силы. Кончится каторга; и если она меня даже превратит в калеку, то я на карачках доберусь до Москвы, до Петербурга и хоть малость, но все же кое-что внесу в общее дело. Я бессилен против каменных стен, против железных дверей и решеток, но над своей жизнью я властен. Я жить хочу и буду жить, чтобы разрушить каменные стены, чтобы сорвать железные решетки с окон.

Алексеев бросился к двери — он хочет стучать, стучать, пока они не распахнутся, пока его не выпустят в коридор, чтобы до того, как его поволокут в карцер за буйство, успеть крикнуть во всю мощь своих легких: «Товарищи, не убивайте себя! Это на руку нашим палачам! Они добиваются нашей смерти!»

Но не стал буйствовать: он понял, что если товарищи решились на это крайнее средство, то никакая сила их не остановит. Видимо, мера человеческого терпения у них иссякла.

Ему было трудно, очень трудно примириться с мыслью о смерти... Всю ночь не спал: он мысленно беседовал с Прасковьей Семеновной, беседовал тихо, задушевно, стараясь убедить ее, что ему, Алексееву, иначе поступить нельзя. Он идет на самоубийство с жалостью к себе и с досадой на товарищей, но разве может он сорвать их протест, пусть, с его точки зрения, даже бессмысленный? Не всегда делаешь то, к чему лежит твое сердце.

...Утро. Раскрылась форточка в двери.

— Получай хлеб!

— Не надо.

— Не надо так не надо!

Наступило время обеда. Запах горячей пищи раздражает.

— Не надо.

— Ну, это твое дело.

Второй день. В коридоре тихо. Даже надзиратели стараются заглушить свои шаги.

Алексеев не пьет и воды: решившись умереть, он хочет ускорить

неизбежный конец.

Тянется время. Третий, четвертый день. Надзиратель входит в камеру на цыпочках, молча ставит еду на краешек стола, спешно убирая вчерашнюю, нетронутую. Но Петр Алексеевич видит, что тюремщика бесит это глухое сопротивление арестанта.

— Ишь ты, дьявол, молчит, словно истукан.

К вечеру зашел к Алексееву смотритель. В камере стоит острый, отвратительный запах — так пахнет в мертвецкой. Чуть звякают кандалы.

Алексеев уже не имел сил встать. Смотритель подошел к койке.

— Ну, каково живется?

Алексеев хочет ответить: «Хорошо живется», но сухие губы не могут разомкнуться.

— Я только сегодня узнал об этой голодовке.

Судорога прошла по губам Алексеева, и смотритель принял ее за улыбку.

— Зачем доводить себя до самоистязания? Предъявили бы свои требования. Возможно, кое-что из этих требований можно удовлетворить. Но зачем мучить себя, убивать? Я обещаю исполнить все в пределах законности.

Алексеев долго лежал молча, с закрытыми глазами. Наконец он промолвил:

— Соберите нас всех вместе, подтвердите свои обещания.

— Всех вместе? Нельзя. Запрещено.

— Тогда уходите.

Прошло еще два дня.

Александр II, этот «царь-освободитель», построил Ново-Белгородскую каторжную тюрьму специально для того, чтобы в ней заживо хоронить революционеров. Их там кормили, но впроголодь, над ними издевались, но не грубо, а в пределах «законности», их там пытали, но без клещей и испанских сапог. Когда мать узника Дмоховского после упорных ходатайств добилась разрешения на выдачу книг заключенным, Петру Алексееву дали из тюремной библиотеки «Капитал» Маркса на... французском языке. Из этой книги Алексеев понял только одно: что французы пишут фамилию Маркса с буквой «х».

«Благородный» царь хотел, чтобы революционеры распадались заживо, чтобы они приближались к физической смерти незаметно, но неумолимо, как домики на оползнях. И вдруг взбунтовались мертвецы: воле царя они противопоставили свою волю, — пусть волю к смерти, но не к такой, какая для них уготована.

Из Петербурга пришел грозный окрик: «Не дать умереть!»

В коридоре топот. Эти невнятные звуки вызывают у больного Алексеева смутное беспокойство. Он напрягает все свои силы, чтобы повернуть голову к двери.

Дверь раскрывают, входит врач. Неимоверно высокий старик; он становится на колени, прикладывает ухо к груди больного. Седые волосы закрывают его лицо. Вдруг Алексеев почувствовал, как на его грудь начали падать слезы.

И теплые человеческие слезы согрели холодеющую душу Алексеева. Он притронулся к старческой руке и улыбнулся. В затуманенном мозгу родились слова: «Спасибо, друг. Теперь я умру спокойно». Но произнести эти слова не хватило сил. Доктор ушел. Алексеев впал в беспамятство.

Вырвал его из небытия резкий шум. В камере много людей. Один из них, в ярком мундире, кричит:

— Вяжите его! Клизму дайте! Через час — другую!

У Алексеева нет сил ни сопротивляться, ни говорить. Его тормозат, перекаладывают с боку на бок, вливают в него что-то горячее...

После «голодного бунта» Александр II разрешил заключенным переписываться с родными на воле, разрешил выдавать из библиотеки книги по выбору самих заключенных. Это не значит, что царь стал более человечен, нет, он был холодно-жесток, но испугался «шума» и дал согласие на замедление темпов убийства.

Алексеев воспользовался неожиданным «человеколюбием» Александра II: он стал вести дневник. Сколько ухищрений, сколько ловкости, сколько ума надо было проявлять, чтобы добывать бумагу, перья, чернила! Четыре объемистые тетради он даже сумел передать на волю.

Прасковья Семеновна Ивановская пишет, что «события из жизни узников описывались так живо, волнующе ярко, что читателю казалось, будто он сам переживает вместе с заключенными все это». Алексеев заносил в свои дневники не только «летопись тяжелых дней», но и свои мысли и чаяния. Он готовился к другой жизни, к жизни на воле, когда страшная «летопись тюремных дней» сможет стать оружием в борьбе за социальную справедливость.

В осенний вечер 1880 года подъехала к воротам каторжной тюрьмы

почтовая тройка.

Из ворот вышел Петр Алексеевич, несколько сгорбившись, с серебром в висках и бороде. С усилием передвигая ноги, он подошел к повозке, но вдруг сорвал с головы арестантский колпак, остановился и широко раскрыл рот. Онпил холодный воздух и, глядя на яркие звезды, улыбался сдержанно, робко, точно не веря, что звезды в самом деле сияют над его головой.

Ночевка в Харькове. Переезд по железной дороге до Мценска. Из Ново-Белгородской тюрьмы вышли полутрупы — только два человека, Алексеев и Зданович, могли двигаться и что-то делать, Бессонная ночь в поезде; то тут, то там слышались стоны, истерические рыдания. Зданович присаживался к товарищам, уговаривал, успокаивал, а Петр Алексеев, словно нянька, кормил и поил больных, убирал за ними, переходил с места на место и всю ночь напролет ни на минуту не присаживался.

Остановка в Мценской тюрьме. Было это в те дни, когда диктатор Лорис-Меликов хотел казаться либеральным. Прикинулся либералом и начальник тюрьмы Побывлевский. Камеры не запирались, в тюрьме шли собрания, читались лекции, устраивались диспуты.

Состав политических заключенных был крайне пестрым: «мирные пропагандисты» начала семидесятых годов и фанатики террора, интеллигенты и рабочие.

Между рабочими и интеллигентами часто вспыхивали споры; они носили сначала принципиальный характер, но постепенно споры переходили в область личных переживаний. Интеллигенты идеализировали рабочих и потому относились к ним с какой-то мелочной предупредительностью, даже снисходительностью. Это обижало рабочих и вызывало с их стороны подозрительность, желание обособиться.

В этой пестрой массе выделялась фигура Петра Алексеева. Рабочие гордились им, интеллигенты превозносили. Даже террористы говорили с ним уважительно, на все лады доказывая, что их программа является логическим оформлением слов самого Алексеева: «Подымется мускулистая рука...»

Надо было обладать трезвым умом Алексеева, чтобы не казаться «зазнавшимся» для рабочих и «выскочкой» для интеллигентов. Он одинаково относился ко всем, был со всеми ровен и при всей своей резкости всегда находил спокойные слова, чтобы любой спор вывести из тупика ущемленных самолюбий. Он был прост в поведении и обхождении, до того прост, что новички спрашивали: «Неужели это тот самый Петр Алексеев?»

Лишь в одном казался Петр Алексеев смешным. В Мценской тюрьме разрешались свидания, и заключенные широко пользовались этой привилегией. Приезжали жены, матери, дети, братья, сестры. К Петру Алексеевичу никто не приезжал. А он истосковался по родному лицу, по родной душе, по человеку «с воли», по человеку, у которого глаза блестят, голос взволнован. И этот здоровенный мужчина с темными лохматыми волосами и курчавой бородой, с синими, глубоко запавшими глазами, с тяжелой походкой кулачного бойца не пропускал ни одного чужого свидания. Как сирота, лишенный ласки, украдкой и с замиранием сердца глядит, как мать милуется со своим ребенком, так Петр Алексеев, притаившись в углу, впивался пристальным взглядом в чужие лица, вслушивался в чужие разговоры, радовался чужой радости, болел чужим горем. А вернувшись в камеру, он говорил о том, что происходило на свидании, так взволнованно, точно семейные новости и печали чужого человека были его новостями, его печальями.

Это казалось товарищам смешным.

Кончилось привольное мценское житье: партию каторжан отправили в Нижний Новгород, а там на баржу. Помещение полутемное, с крохотными окошками, через которые все же можно было любоваться волжскими и камскими берегами.

От Перми до Тюмени двигались на почтовых, а от Тюмени — снова баржа, снова водный путь по Туре, Иртышу, Оби... Реки многоводные, но печальные, пустынные, с плоскими болотистыми берегами, со скупой растительностью...

Более месяца пришлось плыть по Оби в низких, тесных, наскоро сколоченных из досок баржах-паузках. Плыли целым караваном: впереди баржа с уголовниками, за ними двигался паузок с политическими, а в хвосте — небольшой паузок, в котором находились конвойный начальник, часть команды и продовольственный склад. Конвойный начальник был грубый, всегда пьяный офицер и при этом мошенник. Он открыто торговал водкой и продуктами. Политических он ненавидел, говорил им «ты», при всяком случае угрожал «дать в морду» и ругался площадной бранью. Когда Алексеев ему однажды заметил: «Тут женщины», — он ответил: «Пусть заткнут уши ватой».

4. Апрель 1891 г.
Музыкальная политехническая
школа

Дорогой мой
Петр!

Когда, сколько я и пишу
тебе из дома предвещаю-
щую заключение в Новороссий,
надеясь получить от тебя
есть не особенно приятного,
такой искренности и чуждо-
теплого восторга — восторга, в
силу которого твои кра-
сивейшие чувства должа-
ны быть, силы стано-
вятся бодрее и твое, моя
страшная твоя, краснота
которой сурово безпощадная
судьба казнила великого
человека, до того
опластает безразличия, что за-
ранее старалась приставить
и жить с великим твоим,
что тебе обидает не это
новое, негнущееся и живое

Среди женщин-политических находилась девушка — все ее звали Макка вместо Мария; она по своей воле ехала на каторгу к своему жениху-студенту. Жизнерадостная, веселая, Макка с такой легкостью переносила невзгоды, что вливала бодрость в сердца измученных людей. Большими, веселыми глазами она оживляла мрачный трюм паузка, а звучным голосом заглушала погребальный звон кандалов.

И эта девушка приглянулась пьяному офицеру. В один из дней он завлек ее на свой паузок, но Макке удалось спастись от мерзавца: она бросилась в воду и вплавь вернулась к своим товарищам.

Политические приготовились к столкновению. Два дня прошли спокойно: офицер не появлялся. Политические успокоились.

Тяжелая баржа медленно продвигалась вперед. В первой паре греб Петр Алексеев. Он наслаждался свежим воздухом после ночи, проведенной в смрадном трюме. Изредка, словно вздох, доходил с берега зов кукушки.

Макка сидела на корме; она что-то рассказывала больному революционеру Буцинскому. Гребцы не слышали рассказа, но голос Макки, как колокольчик, вплетал высокую и певучую ноту в суровую гамму речных шумов.

Вдруг политические заметили необычное оживление на командирском паузке, и вскоре оттуда отчалила лодка; в ней были офицер и два солдата. Ружья, блестя на солнце штыками, лежали на корме. Офицер угрожающе размахивал рукой.

Политические решили уйти от пьяного офицера. Они налегли на весла. Гребли дружно и сильно. Баржа то поднималась высоко над рекой, то падала вниз, будто в яму. Огромные волны с пеной на хребте ходили, как живые, с сердитым шумом, и баржа прыгала по ним, словно скорлупа ореха. Вдали, на берегах, проплывали острые шпили пихт и лапчатых елей.

Офицер, стоя в лодке, то хватался за ружье, то истошно ругался.

Политические следили за каждым его движением.

Неожиданно Буцинский сказал:

— Ни к чему эти гонки. Надо подготовиться к бою.

И все поняли: не уйти тяжелой барже от легкой лодки!

— Что ты предлагаешь? — спросил один из гребцов.

— У нас есть несколько финских ножей. Самые сильные из нас вооружатся ножами. А у женщин, — продолжал он дрогнувшим голосом, — имеется морфий. В случае чего... живыми не дадутся...

— Мне дайте нож! — воскликнула Макка. — Я убью его!

Алексеев глянул девушке в глаза.

«Она сумеет это сделать!» — подумал он.

— В случае чего, — закончил Буцинский свою мысль, — можно будет поджечь паузок.

Предложение Буцинского было одобрено.

Женщины спустились в трюм, разделили морфий на равные части, потом разбросали по полу одежду и постельные принадлежности, приготовили бутылки с керосином и вышли на палубу.

Лодка приближалась.

Гребцы на паузке еле двигали веслами.

Когда лодка приблизилась настолько, что уже слышен был визг взбешенного офицера, поднялся Петр Алексеев.

— Я вас прошу ничего не предпринимать, — обратился он к своим товарищам.

— Петр Алексеевич... — тихо, но с укоризной в голосе произнес Буцинский.

— Я вас убедительно прошу, — повторил Алексеев. — Не бросайте весел, гребите. Все обойдется... А вы, — обратился он к Макке, — спуститесь в трюм.

В его голосе слышалась такая суровая уверенность, что все подчинились: мужчины опять начали гребти, Макка спустилась в трюм.

Лодка подошла к паузку. Офицер взобрался на палубу. Он шел покачиваясь. За ним следовал солдат с ружьем. На мгновение офицер остановился, выругался и почти бегом направился к группе женщин. Среди них не было Макки! Одним прыжком он очутился у входа в трюм и... остановился.

Перед ним, загораживая спиной спуск в трюм, стоял Петр Алексеев — неподвижно, как изваяние. Белое лицо в раме темных волос казалось каменным.

— Уходите, — произнес Петр Алексеев зловещим шепотом.

И офицер струсил. Он было повернулся спиной к Алексею, но, испугавшись, опять стал к нему лицом и, неожиданно расхохотавшись, воскликнул:

— Ну и рожа у вас, Алексеев!..

Петушиным шагом обежал офицер палубу, остановился перед Буцинским:

— Что, старик, жив еще?

Не получив ответа, он скороговоркой закончил:

— Живи-живи, старик! Дотяни до Кары! Не порть мне счета... Пошли, Хвостов! — обратился он к солдату. — У них тут все в порядке.

Лодка отчалила.

Офицер больше не возобновлял своих гнусных попыток.

Кончился, наконец, водный путь. Пристали к берегу.

Солнце опускается к горизонту, обливая прощальными лучами кусты тальника и реку, которая словно притихла, притаилась в своих глинистых берегах.

— Выходи! — слышен окрик офицера.

Каторжане строятся в пары. Звенят кандалы.

На спинах — пропитанные водой пожитки.

Люди бредут в гору — бредут уныло, из последних сил. Начальник конвоя подгоняет. Туман и холодный ветер пронизывают до костей.

Переночевали в Томской тюрьме и дальше в путь — опять на лошадях и уже вплоть до Иркутска. Недели тащатся они по Сибирскому тракту, тащатся черепашим шагом: шестнадцать верст в день. Но природа радует глаз: горы желтые, изъеденные ветрами, как протлевшее дерево, вершины в зубцах, как скребницы, скаты на «перстах». Торчат «персты», как ежовые иглы. Дальше горы белые, горы серые, горы полосатые. И всюду сибирская лиственница: по размерам и крепости — дуб, по виду листвы — сосна, но с хвоей нежной и мелкой, узорчатой. Она отливает золотом; в сплошном золоте скаты, в золоте вершины, в золоте дали.

К Байкалу они подъехали уже поздней осенью. То поднимаясь на крутые отроги гор, то спускаясь с них и пересекая долины, каторжане ехали пустынным берегом неприветливого в это время года Байкала. Воздух жжется, как намерзшее железо. При лунном сиянии дали обманчивы.

Промелькнули живописные берега Шилки, и вот уже Усть-Кара, преддверие каторги.

Был поздний ноябрьский вечер. Дорога пролежала по узкой долине, окаймленной с обеих сторон высокими лесистыми горами.

Наконец-то мигнул свет — первое человеческое жилье. И это жилье — Карийская каторжная тюрьма! Деревянный забор, за забором — мертвая тишина.

Ворота, протяжно скрипнув, раскрылись.

Партия ссыльных очутилась во дворе тюрьмы.

Произошло ли это случайно, или начальник каторжной тюрьмы хотел сразу же показать вновь прибывшим, какие «прелести» их ожидают, но случилось так, что после приема он не отослал в камеры измученных в дороге людей, а приказал им выстроиться в каре. В середину каре поставили «кобылу» и возле нее сложили кучу влажных розог.

Вскоре вывели из тюрьмы арестанта. Это был молодой человек, с

лицом одутловатым, с желтинкой — такие лица бывают у людей, лишенных свежего воздуха.

— Расстегнись! — приказал начальник.

— Сам расстегивай! — дерзко откликнулся арестант.

— Расстегнись, говорю! — угрожающе повторил начальник.

— Сам расстегивай!

— Фомин! Расстегни!

К заключенному бросился надзиратель, оборвал на нем все пуговицы, вздернул рубаху на голову и медвежьим обхватом уложил его на «кобылу».

— Начинай! — скомандовал начальник.

Раздался свист первой розги.

Тело молодого человека подпрыгнуло...

В тюрьме было пять камер: «Синедрион», «Харчевка», «Дворянка», «Якутка» и «Волость». Петр Алексеев попал в «Якутку».

Между нарами — узкий проход, шагать по камере мог только один человек, остальные оставались лежать на нарах. Нары стояли впритык. Ночью беспокойно спящий перекатывался к соседу.

Недели, месяцы, годы изнывал Петр Алексеев в камере — душной, перенаселенной, где люди вслух мечтали о труде, о воле и о борьбе за эту волю, где заключенные прибегали к голодным бунтам, чтобы защитить себя от жестокости тюремщиков. Приходилось голодать по семи и даже тринадцати дней, чтобы добиться работы или книг. Ужасы таких голодовок не трогали тюремщиков. Умиравших, по заведенному порядку, связывали и кормили насильно — так в старину откармливали гусей на убой. Многие политические сходили с ума, и, их продолжали держать в общих камерах, где у людей и без того до предела были напряжены нервы.

С рассветом раскрывались камеры и приходили уголовники-уборщики. Зимой приносили они искрящиеся льдинки в бородах, летом — запах полей. Они двигались, дышали вольным воздухом, видели небо над головой, слышали пение птиц. Политические были всего этого лишены.

В тюрьме Петр Алексеев столкнулся с новым типом интеллигента-революционера, и некоторые из этих интеллигентов ему не понравились. Он не находил в них той нравственной чистоты, той высокой требовательности, которую предъявляли к себе его первые учителя; в их поступках, в их разговорах он не обнаружил той восторженности, той жертвенности, той подчас слепой веры в народ. Эти интеллигенты говорили много о революции, но почти каждый из них в это понятие вкладывал какой-то свой смысл. Только в одном они были единодушны: в недооценке роли рабочих в революционном движении. И именно это

обижало, возмущало Петра Алексеева. Он, Алексеев, продолжал верить в народ, особенно в рабочий народ, в его силу, в его желание покончить с извечной нуждой.

Подметил Петр Алексеевич еще и другое: некоторые из этих интеллигентов считали приятным развлечением разить своих оппонентов из рабочих тонкими, но очень обидными колкостями. Они щеголяли своей начитанностью, своими знаниями и не для того, чтобы передать эти знания рабочим, а чтобы унижить их, делать их смешными в глазах товарищей.

Однажды в камере вспыхнул спор. Двое рабочих, сидя на нарах, говорили о том, что социалистический строй — вещь неминуемая. Все дело, рассуждали они, только в сроках.

Тут поднялся со своей койки один из деятелей нового поколения. Длинный, на тонких ногах. Он уставился на рабочих таким изумленным взглядом, словно вдруг увидел перед собой ихтиозавров.

— Как вы, господа пролетарии, легко решаете мировые проблемы! Социалистический строй! А знаете вы, господа пролетарии, что, пока у нас не будет великой книги об этике, мы не будем в состоянии осуществить социалистический строй? Кстати, господа, а вы знаете, что такое этика?

Петра Алексеевича больно задел пренебрежительный тон интеллигента, он хотел его оборвать, осадить, но вдруг его самого заинтересовал предмет спора. Он поднял голову с подушки и спокойно спросил:

— А научный социализм?

Интеллигент рассмеялся.

— Научный социализм? — повторил он, повернувшись к Алексееву. — Это лишь философия социального строя, в котором эксплуатация человека человеком не будет иметь места, в котором не будет классов, — словом, философия материального устройства человека, материального его существования, но не духовного, во всей его глубине, полноте, красоте. Глубину, полноту, красоту может дать только этика, как венец философии, как высшее ее завершение. Пока творческие силы человека еще недостаточны, чтобы дать такое построение. Поэтому-то мы с вами и бродим в потемках...

— О какой этике вы говорите? — с прежним спокойствием спросил Алексеев. — Я знаю только одну этику — революционную. А революционная этика уже существует.

— Где?

— Вот где! — с жаром ответил Алексеев, стукнув себя в грудь.

— Это, Петр Алексеевич, ваша частная собственность, — иронически

улыбаясь, промолвил интеллигент.

— Вы правы, у вас этой собственности нет, и мне вас от души жалко. Единственно, чем я могу помочь, — это пожертвовать вам свечку, чтобы вы не бродили в потемках.

Взрыв смеха оборвал спор: на всех нарах смеялись. И интеллигент сразу сжался, побледнел и повалился на свою койку.

И все же веру в чистого сердцем интеллигента Петр Алексеевич не потерял. Он сузил круг своих привязанностей, близко сошелся только с тремя: Войнаральским, Коваликом и Пекарским, — эти трое, по убеждению Петра Алексеева, сохранили теплоту интеллигенции семидесятых годов. Друзья обособились, вели отдельное хозяйство и даже завели собственную библиотеку.

Но однажды — а это было в то время, когда по каким-то техническим причинам задержалась присылка денег из России и политические заключенные терпели нужду, — Петр Алексеевич заявил своим друзьям, что ему по состоянию здоровья необходим добавочный паек.

Заявление Алексеева хотя и озадачило «маленькую коммуну», но не вызвало дискуссии. Ковалик отправился в «Синедрион», к «старикам», ведающим распределением денег, присылаемых из России, и попросил сверх выдаваемых им девяти рублей на улучшение казенной пищи еще шесть рублей, для покупки припасов специально для Петра Алексеева.

— Почему?

— Ему по состоянию здоровья требуется усиленное питание.

— Алексееву? Да он здоровее всех нас.

— Он сам попросил.

— Тут какое-то недоразумение! Идемте к Алексееву!

Отправились в «Якутку». Алексеев читал, лежа на койке.

— Петр Алексеевич, что с тобой? Ковалик говорит, что ты добавочный паек просишь!

— Прошу.

— А ты знаешь, что у нас с деньгами туго?

— Знаю.

«Синедрионцы» переглянулись. Вид у Алексеева, по тюремным условиям, здоровый. Но отказать Петру Алексееву?

С этого дня стали в камерах косо поглядывать на Петра Алексеевича. Одни говорили: «Гордый-то гордый, а когда до брюха дошло, вся гордость слетела»; другие: «Купоны со своей славы стрижет». Алексеев слышал и отмалчивался.

И только много месяцев спустя выяснилось: не для себя брал Петр

Алексеев добавочный паек. В «Харчевке» сидел рабочий Данилов, парень рослый, широкий. Он попал на политическую каторгу случайно, не имея отношения к политике.

Дело было в Воронеже. Около полуночи возвращался Данилов с работы. Светло, тепло, в кармане — недельная получка. Настроение хорошее. Вдруг видит Данилов: два дюжих молодца напали на щупленького человека, хватают его за шиворот, руки выворачивают. Данилов налетел на молодцов, смял, избил их. Щупленький убежал. Молодцы зашумели, засвистели. Появилась полиция. Данилова арестовали. Оказалось: шпики выследили революционера, захватили, повели в охранку.

— А если бы ты знал, что это политический, как тогда? — спросил Алексеев.

— Кабы знал? В том-то и суть, что я раньше делаю, а уж потом думаю. Вижу, двое лупят одного, когда тут думать? Ноги сами побежали.

И этот Данилов стал чахнуть: денег ниоткуда не получал, а тюремный паек был скудный. Из своего пайка Алексеев не мог его подкармливать: в коммуне ели из одного котелка и то не досыта. Тогда решил Петр Алексеевич использовать свою славу: он знал, что ему-то не откажут в добавочном пайке.

Когда раскрылось это дело — Данилов проболтался, — началось паломничество в «Якутку»: одни сочли необходимым извиниться перед Алексеевым, другие почувствовали потребность пожать его руку. Но многие интеллигенты все же сочли поступок Петра Алексеева «недостойным». Алексеев-де использовал свой авторитет, чтобы «подкормить» человека, не имеющего отношения к революционному делу, и Алексеев-де это сделал только потому, что Данилов — рабочий. В этом обвинении слышались отзвуки тех вечных споров, в которых Петр Алексеев упорно, подчас и грубо отстаивал свою идею, что именно рабочий класс сделает революцию в России; в этом обвинении сказалось и раздражение какой-то части, народнической интеллигенции против огромного авторитета, который завоевал «типичнейший русский мужик», как они величали Алексеева.

Войнаральский предложил исключить Алексеева из коммуны, и дело не дошло до разрыва только благодаря Пекарскому. Для Пекарского Алексеев был идеалом революционера. Речь Петра Алексеева сыграла в его жизни решающую роль: прочитав речь, он бросил невесту, семью, университет и ушел, «в стан Петра Алексеева». На каторге Пекарский привязался к Петру Алексеевичу, полюбил его. Ему было больно от сознания, что кто-то находит изъян в его герое. Но Пекарский уважал и

Войнаральского. Честный, принципиальный!

Тогда Пекарский решил поговорить с Петром Алексеевичем. Тот выслушал взволнованную речь своего друга и ничего не ответил. Только ночью положил Алексеев голову на подушку Пекарского и сказал шепотом:

— Эдуард, я видел Волгу у камского устья. Текут рядом две полосы воды: одна — белая, камская, другая — зеленая, волжская. Текут и не сливаются, ясная граница между ними. Вот и в нашем революционном движении уже обозначается такая ясная граница. Войнаральский, Ковалик да и ты, родной, — одна окраска; я и много рабочих — другая окраска. Мы все пока еще в одном котле, все окраски пока еще спутаны, но кое-где основная окраска уже выходит на поверхность. А знаешь, Эдуард, какая окраска основная? Отношение к рабочему классу. Вы и мы, рабочие, думаем на этот счет по-разному. И нет ничего удивительного в том, что многие интеллигенты недовольны мною. Тут дело кровное. Не кончится одним недовольством, до драки еще дойдет.

Пекарский, этот будущий академик, не понял рабочего Петра Алексеева.

— Почему должно дойти до драки между революционерами?

— Без рабочих не будет восстания. Не будет, Эдуард! А эти интеллигенты что делают? Рабочих от себя отталкивают.

Так шли годы.

Перед коронацией Александра III приехал на Кару флигель-адъютант Норд — он собирал покаянные прошения, дабы дать возможность новому монарху проявить «милосердие».

— А вы? — обратился флигель-адъютант к Алексееву. — Где ваше прошение?

— Я разучился писать на каторге, — ответил Алексеев.

— Если только в этом дело, поможем. Напишут за вас прошение!

— Не стоит людей беспокоить.

И Алексеев не попал в число лиц, освобожденных по манифесту. Он вышел на поселение лишь в 1884 году. В бороде — белые нити, виски инеем припушены, но спина крутая, кулаки крепкие.

Выйдя за ворота острога, Алексеев остановился. Над ним — ясное небо. Орел описывает стремительные круги. Впереди вьется горная дорога. Пахнет бобыльником. Где-то близко лопочет ручеек.

Сжалось сердце, из глаз брызнули слезы: свобода!

Но к радостному чувству примешивалась грусть, стыд перед товарищами: ведь они, дорогие сердцу люди, остались там, в душных камерах...

— Пошли, пошли! — заторопил конвоир. — Успеешь наглядеться!
Петр Алексеевич зашагал. Ноги, отвыкшие от ходьбы, подкашивались.
Приехали, наконец, к месту поселения: в Баягонтайский улус.
Конвоир сдал начальству Алексеева под расписку.

Первое письмо «с воли» Алексеев написал Прасковье Семеновне Ивановской.

«Помнится, в одном письме к вам из Иркутска я восклицал: «Тоскливо становится продолжать такой медленный путь в дороге и надоело шататься по разным тюрьмам и оставаться несколько месяцев на одном месте, сидеть в грязном клоповнике, ждать с нетерпением, ждать изо дня в день «достигнутой» свободы: хочется, хочется поскорей на волю! Хотя я еще и не пристроился, но тем не менее буду на месте своего поселения, в том самом наслеге, где должен буду жить». Мне тогда казалось... Да, я просто грезил, что вот я близко к вам — улыбается жизнь.

Но, родная, вы, пожалуй, не можете поверить, теперь же я воочию встретился с волей, теперь ясно и спокойно могу рассуждать о ней, теперь вижу, что мне сулит воля и какая перспектива впереди. С тоскливым чувством на душе сажусь за письмо и сознаю, что не в силах передать то тяжелое впечатление, которое произвела на меня Якутка. Еще не доехав до места назначения, чем дальше забирался в глушь, чем дальше знакомился с якутами, которых встречал на пути, со своими товарищами, поселенными среди них, — на душе становилось тяжелее, мрачные думы не покидали ни на одну минуту, а в голове роились такие вопросы, которые, право, передать боюсь. Силы меня покидали, энергия слабела, чем я был бодр — надежды рушены. Просто мне казалось, я дальше от воли, дальше от жизни. Ни одной светлой мысли, ни единого просвета души. Все деревенело, безжалостно гнело меня. Приехал я в субботу; на следующий день праздник. Раннее утро, ясная, светлая погода. Солнце так весело играло. Принарядился во что мог и вышел из хижины своего товарища, у которого временно поселился. Походил кругом, посмотрел в ту и другую сторону: кругом дичь, тайга, ни единой живой души, даже якутских юрт поблизости нет. Это совершенно пустынное место, от которого ближе как на расстоянии нескольких верст нет ни одного жилья; но красивое, слишком красивое место. Вздумал было бродить, но показалось скучно. Я

вернулся, хотел сесть за письмо, да слишком уж мрачно настроен, — и отказался. Словом, не встретил отрадно волю первых дней, не встретил вместе с тем того светлого праздника, каким я его знал в дни своей беспечной юности...»

Discours de Pierre Alexeieff

РАБОЧАЯ БИБЛИОТЕКА

Выпускъ Третій

РѢЧЬ

П. А. Алексѣева

Цѣна 3 копѣйки

ЖЕНЕВА

Издание Русскаго Соціалъ-демократическаго Союза

—
1889

Одно из изданий речи Петра Алексеева.

Якутия — царство дремучих хвойных лесов, тайги. Скалистые гребни гор и равнины покрыты глухими чащами, где все пустынно и дико, только ветер гудит в беспредельном лесном океане. Мохнатый кедр, сумрачная ель, стройная пирамида пихты, таежная красавица лиственница. Изредка мелькнет белый ствол березы, протянет к свету свою перистую ветвь рябина, притаится в ложбине задумчивая черемуха, и снова хвойные деревья. Кое-где раздвигается тайга, чтобы пропустить реку, раздастся, чтобы дать место какой-нибудь сотне человеческих жизней, и опять сомкнется тесным кольцом.

Петр Алексеевич выстроил себе юрту и, на удивление своим соседям, сложил настоящую русскую печь. В «хотоне», в хлеве для скота, появилась корова, а потом и лохматая якутская лошадка.

В юрте уютно. Стены чисто вымыты, окна блестят. В красном углу, где полагается быть иконе, — полка с книгами; выше полки, в березовой рамке, — стихи Боровиковского:

Мой тяжкий грех, мой замысел злодейский
Суди, судья, попроще, поскорей,
Без мишуры, без маски фарисейской,
Без защитительных речей.
Из окна видны озеро, убогая часовня.

Якуты поначалу настороженно присматривались к новому поселенцу. Большой русский начальник, разъезжающий по улусу на тройке с бубенцами, сказал им: «Алексеев — плохой человек, не дружите с ним». А Алексеев этот оказался добрым человеком: и советом помогает и трудом, парней к мастерству приучает. Для детей вырезал он большие буквы и поет с детишками: «Ба-ва-га», старикам рассказывает, как живет простой народ в России и как он с барами воюет. И еще уважали Петра Алексеевича за силу: на палках перетягивает самых сильных якутов. Родового старшину, тучного, тяжелого богатыря, Алексеев поднял за загривок и посадил на коня, а большую лодку он один вынес из сарая и на спине поволок к озеру. Нет, Алексеев вовсе не плохой человек!

Хорошо хозяйствовал Алексеев! Лето в Якутии короткое, но это короткое лето должно обеспечить сытную зиму. Уже в июле он писал Прасковье Семеновне:

«В первых своих письмах я вам писал, как у нас все дико, пустынно и

жутко «свежему» человеку. Тогда действительно было так, потому что лес не оделся, кочковатая равнина и озеро были покрыты льдом и представляли из себя дикую, однообразную, голую, болотистую... сплошь невеселую картину. Другое дело теперь. Лес оделся, хотя не роскошно, но оделся. Зато трава, трава, как по волшебству, в один месяц так поднялась и так вдруг выросла, что теперь уже косят. Но все-таки больно, как посмотришь кругом. Не видно человека, не белеет рубашка, не тащится гурьбой, веселой гурьбой толпа игривых ребят и девушек, как это можно постоянно видеть на нашей родине весной в лугах и полях. Тут все пусто; разве изредка увидишь, как полуголый якут или один-одинешенек плывет на своей убогой ветке по озеру, или собирает более чем убогую, маленькую-премаленькую рыбку, которой и питается всю весну. Не щемило бы, не болело бы сердце, если бы этот всю свою жизнь проводящий в заботах и тяжком труде народ жил хоть мало-мальски человеческою жизнью, хотя бы даже бросил то свинячье помещение, в котором, кроме грязи, вони, ничего нет, иль наедлся бы, был бы сыт... А то выйдешь, и жутко станет: гол, грязен, голоден, тощ...

Теперь скажу кое-что о своем хозяйстве и вообще о себе. Первое, то есть хозяйство, находится в самом цветущем состоянии и ведется по всем правилам агрономического искусства. Лишь просохла земля, я орудием, каким еще от сотворения мира никто не работал, раскопал маленькую долину черноземной земли и сделал две превосходные грядки, на которых теперь у меня растет 70 превосходных вилок капусты. Этого мало; я расчистил и другую долину, которую засеял горохом. Так что плоды моих трудов, как я думаю, выразятся осенью в довольно почтенном подспорье моему материальному благосостоянию. Гороху, без шутки, фунтов 10 могу набрать, а о капусте можете сами судить...»

Алексеев начал получать письма из России. Там растет и крепнет рабочий класс! Прокладываются железные дороги, строятся новые фабрики, множатся революционные кружки, усиливается стачечная борьба. Стачка в Серпухове — на бумагопрядильной Коншина, стачка на ткацкой Зубкова в Иванове, забастовка на Мышкинском чугуноплавильном заводе, стачка на Долматовской мануфактуре, забастовка на Юзовском заводе, волнения и стачки на петербургских фабриках Шау, Максвелла, на Новой бумагопрядильной и у Кенига за Нарвской заставой.

И Петр Алексеевич задумал бежать.

Три пути вели в широкий мир: на север — к Лене, на восток — к морю, на юг — в Китай. Петр Алексеевич стал готовиться к побегу на

восток, к морю. У него были припасены и деньги: товарищи по Каре дали ему для этой цели двести рублей.

Из Баягонтайского улуса бежать было сложно: непроходимая тайга, безлюдье, но Алексеев упорно готовил запасы и снаряжение. Бежать не удалось. Начальство гнало Алексеева из улуса в улус, не давая ему засиживаться на одном месте. Запротестовал Петр Алексеевич: «Хотите голодом меня задушить, не даете хозяйствовать!»

Наконец его поселили в Жулейском наслеге Бутурусского улуса. Двести километров до Якутска, восемнадцать километров до друга по карийской каторге Пекарского. Петр Алексеевич начал все сначала: юрта, покос, капуста. Обзавелся друзьями среди якутов, мастерил мебель для дома, соседям помогал, принимал участие в мирских делах. У начальства создалось впечатление, что Алексеев решил обосноваться на веки вечные.

Алексеев же не оставлял мысли о побеге: он тщательно к нему готовился. Сшил себе сапоги, купил крепкий полушубок и даже раздобыл неплохой револьвер.

С Пекарским он видался часто: ездили друг к другу за новостями, а чаще для того, чтобы «душу отвести».

Пекарский в то время увлекался якутским фольклором, а Петр Алексеевич задумал написать роман «Оторва» — роман о человеке, оторванном от жизни и дела, явно биографического характера. Дни, а зачастую и ночи напролет говорили они о якутском фольклоре и о душевных переживаниях героя не написанного еще романа. Говорили и о себе, и о людях, с которыми они когда-то сталкивались, и о людях, с которыми хотели бы вновь встретиться.

Пекарский относился к своему прошлому спокойно, философски. Он вспоминал свои прожитые годы, как вспоминают биографию героя из давно прочитанной книги. Петр же Алексеевич, рассказывая, волновался: он видел свое прошлое с такой ясностью, словно это было вчера-позавчера, и чувства, пережитые им много лет назад, сохранили всю свою свежесть, всю свою непосредственность. Синегуб, Перовская, Костя Шагин и даже Вера, девушка в беличьей шубке, которая только промелькнула в его жизни, оживали в его воспоминаниях, так лучи солнца, которые радуют, греют и вызывают буйный рост.

О Прасковье Семеновне они почти не говорили. Ее действительно выпустили из Петербургской тюрьмы 10 апреля 1875 года, но выпустили для того, чтобы вновь арестовать. Теперь она на каторге, на той самой карийской каторге, откуда только что вырвался Петр Алексеевич. Но и для нее, для Прасковьи Семеновны, подходит к концу каторжный срок. Близкая

встреча и счастье, связанное с этой встречей, было делом слишком интимным, чтобы о нем говорить даже с другом.

Петр Алексеевич Алексеев был уверен в своем счастье: совершит ли он побег или дождется в Жулейском наслеге конца ссылки — безразлично: через семь месяцев освобождается Прасковья, и тогда приедет она к нему, где бы он ни находился. Жизнь не замкнутый круг без начала и без конца, каждый день в человеческой жизни может стать началом большого счастья. И Петр Алексеевич знает, точно знает, когда наступит его большой день.

— Но ведь и ты, Петруха, и она снова приметесь за дело, — сказал Пекарский однажды под утро. — Как ты себе представляешь вашу жизнь?

Этот вопрос рассердил Петра Алексеевича. Он прошелся по комнате, немного успокоился, наконец сказал:

— Слушай, Эдуард, и запомни. Счастье отпускается не на фунты и не на золотники. Счастье — это счастье, сколько бы оно ни длилось. Будем счастливы неделю — хорошо, месяц — еще лучше. И если нас разлучит судьба после недели или после месяца, то счастье этим не кончится: оно будет продолжать жить в нас.

Вот с этого дня избегал Алексеев разговоров о Прасковье Семеновне.

В знойное августовское утро 1891 года, когда Пекарский вместе с двумя поденщиками работали на покосе, приехал верхом Петр Алексеевич.

— Еще косишь? — удивился он, слезая с лошади. Огляделся кругом, улыбнулся. — У тебя, Эдуард, хозяйство на широкую ногу поставлено. Татарин косит, якутка сгребает. Не то что у меня, мужика: один за всё.

— И ты уже откосился?

— А как же! Раз на себя надеешься, то приходится руками помахать. Дай-кошь косу! — обратился он к татарину. — И смотри, как у нас в России косят!

И пошел Петр Алексеевич. Тело, словно на шарнирах; поворачивается в ритме маятника то влево, то вправо; коса тоненько повизгивает, — мигнет серебряный лучик, скроется в траве, и вот у ног Алексеева широкий веер зеленой травы.

Сбоку шел татарин. Он следил напряженно за руками косца, в его взгляде удивление и недоверие.

— Да ты, Петруха, артист! — воскликнул Пекарский.

— Мужик, а не артист. Почитай, лет тысячу Алексеевы сено косили.

Скосив пол-луга, Петр Алексеевич передал косу татарину:

— Видал, как в России косят? Вот ты и попробуй по-русски. Не суетись. Стой спокойно, отнеси косу далеко назад и сразу, со всей силы —

р-раз!

Татарин попробовал сделать так, как учил Алексеев, но ничего не вышло. Его тело рванулось вперед вслед за взмахом руки — трава легла ступеньками.

— Хорошо, — похвалил Петр Алексеевич. — Человек ты с понятием. Только стоишь ты неверно. Крепче на пятку налегай.

Второй взмах получился у татарина лучше, шире, и трава легла ровнее.

— Вот теперь уж совсем хорошо!

И с каждым шагом у татарина получалось все лучше и лучше. Татарин сам это заметил; его лицо сияло.

— К вечеру и кончите, — сказал Алексеев, подтягивая подпругу у своей лошади. — Дня за два управишься, Эдуард?

— Думаю, управлюсь.

— Тогда приезжай ко мне, отпразднуем покос.

— Приеду, Петруха.

Алексеев ловко вскочил в седло, подобрал повод и сразу пустил коня вскачь. Вдруг остановился, повернулся в седле и крикнул:

— Работайте! Работайте!

Пекарский помахал рукой.

Всадник скрылся в лесу.

Пекарский управился только к концу недели и в воскресенье поехал к Алексееву. Уже подъезжая к Жулейскому наслегу, Пекарский издала увидел Федота Сидорова, якута, ближайшего соседа Алексеева. Тот сначала рысил ему навстречу, но неожиданно свернул в сторону, погоняя плетью свою мохнатую лошаденку. Это удивило Пекарского: якут уклоняется от встречи! Странно! И двадцать верст для якута не крюк, чтобы встретиться со знакомцем, чтобы расспросить: «Как корова? Много ли копен накопили? Не собираешься ли в Якутск?» А Федот Сидоров бежит от него! Пекарский пришпорил коня; нагнал якута.

— Ты куда так спешишь?

— У меня тоже дела, — холодно, совсем не по якутскому обычаю ответил Сидоров, смотря куда-то в сторону.

Это еще больше озадачило Пекарского. «Что-то случилось, — подумал он. — Федот Сидоров — старшина наслега, он как бы выражает настроение улусского начальства».

— Как Петр Алексеевич, здоров?

— Поезжай к нему, сам увидишь.

Дальше выпытывать не имело смысла.

— Поеду посмотрю, — сказал Пекарский и сам удивился: его слова

прозвучали как угроза.

Петра Алексеевича не было дома. На двери — замок. Пекарский заглянул в окно — в юрте беспорядок: чашка и чайник не убраны со стола, постель не застлана, на рабочем столе раскрытая газета, на ней — очки. Заглянул Пекарский в конюшню — пусто.

— Странно, — произнес Пекарский вслух. — И не похоже на Петруху. Пригласил в гости, и сам уехал... Нет, это не похоже на Петруху!

Пекарский написал записку: «Очень огорчен, что не застал дома. Видел участкового выборного Романа Большакова. Он сказал, что на твое имя получено разрешение на поездку в Якутск для покупки припасов на зиму. Перед отъездом в Якутск нам непременно нужно повидаться; в пятницу жди меня». Эту записку Пекарский вложил в дверной пробой и уехал.

В пятницу опять приехал: замок на двери, в пробое — записка. Его, Пекарского, записка! Значит, Петр Алексеевич с того времени не был дома!..

Взволновался Пекарский: куда девался друг? Уехать в Якутск без разрешения он не мог; в ближней Чурапче его не видели; бежать из ссылки, не попрощавшись, не похоже на Алексеева.

Пекарский — в управу, в окружную полицию, в родовое управление, в Чурапчу. Всюду он выпрашивал, писал заявления, требовал немедленного расследования, поисков. Сердце Пекарского чувало недоброе, хотя он сам и все взбудораженные им товарищи по ссылке были убеждены, что у Алексеева нет врагов, а вера в его богатырскую силу была так сильна, что ни Пекарский, ни его товарищи и мысли не допускали о возможности покушения на их друга.

И все же нет Алексеева! Проходит неделя, месяц. Уже обыскивали неводами озера, уже разворошили все копны сена, уже молодой и очень энергичный следователь Атласов опросил десятки людей — и ни следа, ни единой улики. Пропал Алексеев! Даже не пропал, а растаял в воздухе, и никто не видел, когда это произошло. Следователь написал заключение, что «государственный преступник Петр Алексеевич Алексеев бежал из ссылки, елико никаких доказательств покушения на его особу не удалось обнаружить», и приказал продать с торгов скарб бежавшего.

А Пекарский не унимался, хотя начальство уже смотрело косо на него, подозревая его «в умышленном затемнении дела». Прокурор так и сказал: «Вы подняли шум, чтобы сбить нас со следа». Даже якуты, обремененные частыми наездами следователей и полицейских, перестали отвечать на его вопросы. Ничто не смущало Пекарского: он рыскал по округе, носился

между Жулейским наслегом и Чурапчой, прислушивался к разговорам, присматривался к якутам, следил даже за тем, какие покупки они делают, какими деньгами расплачиваются. Он был уверен, сердцем чувствовал, что его друг убит и убит именно Федотом Сидоровым, старшиной наслема, который больше по внутренней потребности, чем по должности, принимал уж слишком деятельное участие в розысках. Но поймать, уличить Федота Сидорова Пекарскому все же не удалось; на все вопросы якут находил разумные ответы, в крайнем случае отвечал равнодушным «не знаю».

Исчезновение Петра Алексеева взволновало не одного только Пекарского: всполошились и в Петербурге. Департамент полиции разослал «господам губернаторам, градоначальникам, обер-полицмейстерам, начальникам губернских жандармских и железнодорожных полицейских управлений и на все пограничные пункты» совершенно секретный циркуляр:

«...государственный преступник Петр Алексеевич Алексеев 16 августа сего года бежал из места поселения и, несмотря на все принятые местными властями меры, остался до настоящего времени разысканным.

Названный Алексеев... на суде произнес речь весьма возмутительного содержания, которая впоследствии была отлитографирована и напечатана за границей и даже до сего времени вращается в революционной среде, служа излюбленным орудием пропаганды.

При этом следует заметить, что Алексеев, исходя из простого звания, обладая природным умом и бесспорным даром слова, представляет собою вполне законченный тип революционера-рабочего, закоренелого и стойкого в своих убеждениях, и едва ли после побега удовольствуется пассивной ролью, а напротив, воспользуется обаянием своего имени в революционной среде и, несомненно, перейдет к активной деятельности, которая может оказаться, в особенности же в пределах Империи, весьма вредною для общественного порядка и безопасности...»

Зря беспокоился директор департамента полиции господин Дурново! Петр Алексеев уже не угрожал «общественному порядку и безопасности»!

К якуту Егору Абрамову, как к «городчику», то есть к человеку, только что приехавшему из города, собрались родичи. Он их угощал — таков

обычай — водкой, лакомствами. Конечно, хозяин и себя не забывал. Якут, опьянев, поет — пел и Абрамов:

— Жил в одном улусе русский богатырь силы необыкновенной: быка на бегу останавливал, лошадь на спине поднимал, медведя в тайге встретит — медведь с дороги сворачивает, тигра встретил бы — и с тигром справился. И был он очень богатый: в хотоне коров, что яблок на яблоне, лошадей было у него столько, что он сам не знал им числа, а книг было у него еще больше. Но нашлись богатыри-якуты и победили русского богатыря и богатство его себе забрали. Лежит теперь русский богатырь бездыханный в дремучем лесу и никогда больше не встанет. Не увидят его никогда ни конного, ни пешего, ни один человек не увидит, чтобы из трубы его юрты выходил дым... — И, неожиданно расплакавшись, пьяный Егор Абрамов перешел на другой ритм и на похоронный напев: — Вы слышите стук телег с коваными колесами? Это едут к нам люди с блестящими пуговицами. Не в гости едут они к нам, они едут к нам спрашивать-допрашивать, куда делся русский богатырь. — Егор Абрамов пустился в пляс, метался по юрте, вдруг остановился и опять запел с каким-то петушиным задором: — Якуты ничего не скажут людям с блестящими пуговицами. Якуты не знают, где русский богатырь. А кто они, эти якуты-богатыри, не наше дело... Наше дело молчать... молчать... молчать!

Слух о песне разнесся по округе: отдельные строки, отдельные образы передавались при встречах в лесу, на рыбалке. Слух дошел и до Пекарского.

С прежней неугомонностью он начал ездить по начальству: просил, требовал, торопил, сам вызывал свидетелей, строил догадки, присутствовал на допросах. И, наконец, ему удалось уговорить Егора Абрамова «чистосердечно сознаться».

Старшина наслег, этот якут с недобрыми глазами, Федот Сидоров, сидя на корточках и попыхивая трубкой, сказал ему, Егору Абрамову:

— Много денег у Петро Алексеича. Очень много! Я смотрел в окно, я видел, как Алексеев раскладывал на столе бумажки. Много-много бумажек. Три тысячи рублей будет. Еще больше — пять тысяч рублей будет. Он сказал мне, что в Якутск-город едет, припас купить. Мы уьем Петро Алексеича, деньги отберем и поровну разделим.

— А большой начальник приедет и меня в тюрьму посадит, — ответил Абрамов.

— Не посадит, Егорка, — успокоил его старшина. — Большой начальник не любит Петро Алексеича. Большой начальник мне сказал: «Ты, Федотка Сидоров, не дружи с Алексеевым. Алексеев — мой враг».

Вот что сказал большой начальник!

— Хорошо, — согласился Абрамов. — Убьем Петро Алексеича.

В погожее утро 16 августа 1891 года явился старшина к Петру Алексеевичу:

— Ты хочешь в Якутск ехать? Я теперь свободен, поедem, я тебе короткую дорогу до Чурапчи покажу. Не по вешеной поедem. Полдороги заработаешь. Раньше в Якутск приедешь. Только едем сейчас, пока я свободен. Покажу тебе короткую дорогу, и до обеда вернемся. Скорее седлай.

Алексеев согласился.

Выехали. Лошади шли бодрым шагом. Над тайгой стлался туман.

— Петро Алексеич, когда поедешь в Якутск, то ты скоро вернешься?

— Скоро, Федот. Печь сложить надо. По утрам уже холодно.

— Холодно, Петро Алексеич, — подтвердил Сидоров. — В тайге человеку плохо будет, замерзнет человек. Бежит-бежит человек и замерзнет.

— А зачем ему бежать? — заинтересовался Алексеев, весело поглядывая на попутчика.

— Зачем, говоришь, бежать? Сам не знаю, зачем бежать. Холодно в тайге, замерзнет человек в тайге. А дома тепло. В печке огонь горит, молоко пьешь... Посмотри, Петро Алексеич, Егорка Абрамов тут косить собирается.

Егор Абрамов вышел из леса. Он бросил косу в остожье, подошел к всадникам — поговорить, как водится.

— На этой елани думаешь косить? — спросил Алексеев.

— Хотел бы, да вот что-то голова болит.

— А ты поспи немного, пройдет головная боль.

— И то надо будет так сделать, — сказал Абрамов.

Сидоров, молчавший все время, взял Алексеева за руку:

— Подпруга у тебя ослабла. Ты спешил и плохо седлал. Нехорошо седлал.

Алексеев сошел на землю, затянул подпругу. Егор Абрамов держал его коня под уздцы.

— Хорошо затянул, — одобрил Егор.

В эту минуту Алексеев почувствовал резкую боль в спине. Обернулся — в руках Сидорова окровавленный нож. Превозмогая боль, Алексеев хватил Сидорова по скуле, свалил его с ног и, склонившись, попытался вырвать у него нож.

— Ты что... — начал Алексеев, но фразы не закончил: Егор Абрамов нанес ему ножом удар сбоку,

Алексеев рухнул.

Убийцы опустились на корточки, караулили свою жертву. Алексеев сказал что-то шепотом, приподнял голову, посмотрел вокруг и — замер...

Пекарскому было тяжело: революционер, закаленный царской каторгой, рыдал навзрыд, слушая показания Егора Абрамова. Были мгновения, когда он хотел наброситься на Абрамова, который то и дело прерывал свой жуткий рассказ вопросом: «А мне за это ничего не сделаете?» Только огромным напряжением всех сил Пекарский заставил себя выслушать до конца скорбную повесть о гибели чудесного человека, с которым судьба обошлась жестоко, подло, нанося ему удары именно тогда, когда в сердце закрадывалась надежда на крупицу счастья: почти накануне свидания с Прасковьей Семеновной,

Следственная комиссия обнаружила убитого Петра Алексеева недалеко от тайги в яме, закиданной валежником.

Похороны. Безмолвно, с опущенными долу головами стоят якуты. Ссылные съехались с округи. Пекарский говорит надгробное слово по-якутски.

Пекарский закончил. Выдвинулся вперед старик якут Никишка Абрамов. Он положил жилистые руки на гроб и, глядя слезящимися глазами в спокойное лицо Алексеева, тихо начал:

— У великих гор есть проходы, у матери земли — дороги, у синей воды — брод, у темного леса — тропа. Только у смерти нет дороги, нет прохода, нет брода-тропы. — И вдруг он запел:

Густые туманы — напевы мои,
Снега и дожди — вопли мои,
Черная мгла — песни мои!
О досада, горе мое!

Ты к нам пришел переведаться силой
С высей верхнего чистого неба,
Иль из нижнего мира вышел,
Или прибыл из среднего света?
Ну, рассказывай! Ну же, ну же!
Звери притихли, птицы шумят,
Над нашим домом стоит беда...
Пожелтев, разметались волосы твои,
Что грива и хвост белого коня,
Почтенный мой, ясноокий мой,

С прекрасным переносом, батюшка!

Старик пел долго, уныло, то переходя на шепот, то повышая голос до крика: он создавал легенду о русском богатыре — громоголосом, бородатом, который отважился поднять свой могучий кулак на «большого начальника», о русском богатыре, который был так богат, что собирался «набросить доху серебристых соболей» на плечи бедных якутов.

Сохранился документ:

«1894 года марта 9 дня, я нижеподписавшийся якут Жулейского наслега, Батурускаго улуса, Николай Софронов, дал сие подписку государственному преступнику Эдуарду Пекарскому в том, что я обязуюсь на собственном своим кочтом сделать памятника государств, преступника Петра Алексеева с лезом места три саряды из сараем^[1], так как о покосе памятника жены Николая Большакова непременно окончить 19 июня с. г. за что платы получил от Пекарского три возов саженных и зеленых сена, в противном случае подвергаю строгий законной взыскании. В чем и подписуюсь Якут Николай Софронов по безграмотству за его росписался якут Роман Александров».

Недолговечный памятник соорудил Николай Софронов! Когда Прасковья Семеновна приехала к 1895 году в Жулейский наслег, памятника на месте уже не оказалось. Больше того: старшина наслега подвел Прасковью Семеновну к ограде часовни, ковырнул носком сапога землю и скучно промолвил:

— Тут его похоронили... А может, и немного подальше.

В этом же 1895 году на фабрике Торнтонa вспыхнула забастовка. Это было на той самой фабрике, на которой Петр Алексеев вместе со Смирновым организовал первый революционный кружок.

У Торнтонa мало что изменилось за двадцать лет: гнет, эксплуатация. В казарме те же перегородки, не доходящие до потолка, те же каморки, в каждой из которых ютились две семьи.

И все-таки было не то, что раньше. Экономическое развитие России шагнуло вперед. Возникли мощные промышленные центры: вырос, окреп

рабочий класс.

Сложное оборудование крупных предприятий требовало грамотных рабочих.

Торнтон, как и многие другие фабриканты, открыл школу для взрослых. К преподаванию он привлек учеников духовной семинарии — и дешево, и спокойно: не станут ведь поповичи читать своим ученикам революционную литературу.

Сознательные рабочие не пользовались «щедротами» фабриканта: они уходили в те школы, где учителями были иные люди: марксисты. В этих школах обучали не только письму и чтению — преподаватели там знакомили своих учеников с жизнью и борьбой рабочего класса в европейских странах, интересовались бытом и условиями труда своих учеников, чтобы на примере их работы и жизни показать нужду и чаяния рабочего класса, его мощь и роль в истории России, в истории рабочего движения.

В одной из таких школ преподавала Надежда Константиновна Крупская.

Когда разразилась стачка на фабрике Торнтона, ученики воскресной школы принимали в ней самое деятельное участие.

Владимир Ильич Ленин в связи с забастовкой написал листовку «К рабочим и работницам фабрики Торнтон». В этой листовке он рассказал о чудовищной эксплуатации рабочих фабрикантами и призывал к сплочению, борьбе и стойкости. Материал для листовки собрал торнтоновец Кроликов, ученик Надежды Константиновны Крупской.

Вслед за этой листовкой появились другие. Это были листовки «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»: начался новый период, — рабочее движение соединялось с социализмом.

Многие торнтоновцы помнили Петра Алексева, помнили его речь на суде. Молодые рабочие читали речь Петра Алексева — она неоднократно переиздавалась, и эта речь, как и листовки, звала их к борьбе и к стойкости. О нем, о Петре Алексееве, напомнил не только торнтоновцам, но и всему рабочему классу России в первом же номере «Искры» Владимир Ильич Ленин. Он писал:

«Перед нами стоит во всей своей силе неприятельская крепость, из которой осыпают нас тучи ядер и пуль, уносящие лучших борцов. Мы должны взять эту крепость, и мы возьмем ее, если все силы пробуждающегося пролетариата соединим со всеми силами русских революционеров в одну партию, к которой потянется все, что есть в России живого и честного. И только тогда исполнится великое пророчество

русского рабочего-революционера Петра Алексеева: «подымет
мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма,
огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!»

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА

1849 — 14 (26) января — Петр Алексеев родился в деревне Новинской Сычевского уезда Смоленской губернии, в семье крестьянина Алексея Игнатовича.

1858 — девятилетнего Петра Алексеева родители отправляют в Москву, на фабрику

1872 — Петр Алексеев переезжает в Петербург и поступает на фабрику Торнтон.

1873, осень — Петр Алексеев вступает в кружок народника Синегуба, затем в кружок Софьи Перовской.

1873, зима — при участии рабочего Смирнова Петр Алексеев организует кружок на фабрике Торнтон. Знакомится с народником Ивановским и принимает деятельное участие в делах коммуны на Монетной улице.

Декабрь — Петр Алексеев при участии Прасковьи Семеновны Ивановской организует в коммуне на Монетной школу-приют для малолетних фабричных детей.

1874, лето — Петр Алексеев отправляется с коробом товаров в деревню, осуществляя народнический лозунг «хождение в народ». Привлекает к революционной работе своего односельчанина Пафнутия Николаева.

Осень — Петр Алексеев привлекает к революционной работе своего брата Никифора. Знакомится с приехавшим из-за границы Иваном Джабадари, с его планами оживления революционной работы.

Ноябрь — для активной революционной работы Петр Алексеев переезжает в Москву; там он поступает на фабрику Турне. Петр Алексеев организует конспиративную квартиру на Татарской улице.

1875, январь — Петр Алексеев переводит конспиративную квартиру с Татарской улицы в Сыромятники, в дом Костомарова.

25 февраля — Петр Алексеев переходит на фабрику Тимашева.

Март — учредительный съезд, на котором участники московских кружков хотели договориться о программе и методах дальнейшей работы. На съезде присутствовало 17 человек — среди них и Петр Алексеев.

Перевод конспиративной квартиры из дома Костомарова на

Пантелеевскую улицу, в дом Корсак.

29 марта — Петр Алексеев переходит на нелегальное положение.

4 апреля — арест Петра Алексеева и его товарищей в доме Корсак.

1875, апрель—1876, сентябрь — Петр Алексеев — в Пугачевской башне Бутырской тюрьмы.

1876, сентябрь — перевод Петра Алексеева из Бутырской тюрьмы в петербургский дом предварительного заключения.

1877, 21 февраля — первый день «процесса 50-ти». В этот день Петр Алексеев заявил суду, что он «отказывается как от защиты, так и от дачи каких бы то ни было показаний настоящему суду, который заранее составляет свой приговор».

9 марта — речь Петра Алексеева на суде.

14 марта — объявление приговора по «процессу 50-ти»,

15 марта — Петр Алексеев получает письмо-стихотворение от поэта Н. А. Некрасова.

3 июня — по распоряжению царя Алексеева не отправили в Сибирь, а поместили в самую строгую по тому времени Ново-Белгородскую каторжную тюрьму «с содержанием в одиночном заключении».

1877, декабрь—1880, осень — Петр Алексеев в Ново-Белгородской каторжной тюрьме.

1880, осень — Петра Алексеева временно переводят в Мценскую тюрьму.

1881, весна—1884, весна — Петр Алексеев — в каторжной тюрьме на Каре.

1883 — Петр Алексеев отказывается от предложения царского флигель-адъютанта Норда подать на «высочайшее имя» прошение о помиловании.

1884, весна—1888, осень — Петр Алексеев живет «на вольном поселении» в Саянском наслеге Баягонтайского улуса.

1888, осень — Петра Алексеева переводят в Жулейский наслег Бутурусского улуса.

1891, 16 (28) августа — убийство Петра Алексеева.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- Ленин В. И., Сочинения:
т. 4, «Насущные задачи нашего движения», стр. 346;
т. 5, «Что делать?», стр. 416;
т. 20, «Из прошлого рабочей печати в России», стр. 224.
- Беккер И., «Долгушинцы в Ново-Белгородской тюрьме», «Каторга и ссылка», 1927, кн. 33-я.
- Богучарский В., «Активное народничество 70-х годов», М., 1912.
- Виташевский Н., «В мценской гостинице», «Былое», 1907, № 4.
- Волховский Ф., «Ткач П. Алексеев», СПб., 1906. «Государственные преступления в России в XIX веке», т. 11. Под редакцией Б. Базилевского (В. Богучарского), Штутгарт, 1904.
- Джабадари И., «Процесс 50-ти», «Былое», 1907, № 8—10.
- Джабадари И., «В неволе», «Былое», 1906, № 5—6.
- Долгушин А., «Заживо погребенные», Пгр., 1920.
- Каржанский Н., «Московский ткач Петр Алексеев», М., 1954.
- Ковалик С., «Революционное движение семидесятых годов и «Процесс 193-х», М., 1928.
- Лавров П., «Народники-пропагандисты, 1873—1878 гг.», Л., 1925.
- Орлов П., «Указатель фабрик и заводов в Европейской России», СПб., 1881.
- «Рабочее движение в России в XIX веке». Сборник документов и материалов под редакцией А. М. Панкратовой, т. 1, М., 1950; т. II, М., 1951.
- Пекарский Э., «Рабочий Петр Алексеев», «Былое», 1922, № 19.
- Плеханов Г., Сочинения, т. III, М.—Л., 1928.
- Рожин П., Корифей рабочего движения, М., 1961.
- Синегуб С., «Записки чайковца», М.—Л., 1929.
- Фигнер В., «Запечатленный труд», ч. I, М., 1921; ч. II, М., 1925.
- Фигнер В., «Процесс 50-ти», «Каторга и ссылка», 1927, кн. 33-я.
- Флеровский Н., «Положение рабочего класса в России», М., 1938.
- Цвилленев Н., «Революционер-рабочий Петр Алексеев», М., 19».
- Шульгин В., «К вопросу о проникновении марксизма в Россию», «Историк-марксист», 1939, № 5—6.

ОБ АВТОРЕ

Писатель Леон Исаакович Островер родился 5 января 1890 года в городе Плоцке, в Польше. Окончив философский факультет Краковского университета, он изучал медицину в Берлине. В качестве врача участвовал в мировой и гражданской войнах. В годы Великой Отечественной войны служил в Советской Армии в должности начальника госпиталя.

Первая книга Островера, «В серой шинели», носившая автобиографический характер, появилась в 1926 году. В последующие годы автор опубликовал много повестей и романов. Среди них наиболее известны: «Когда река меняет русло» (1927), «Конец Княжеострова» (1930), «Караван входит в город» (1940), «На большой волне» (1954), Для детей писатель создал ряд историко-революционных книг: «Буревестники» (1953), «Николай Щорс» (1954), «Пресня не сдается» (1955), получивших широкое признание. В серии «ЖЗЛ» вышли три книги Л. Островера: «Петр Алексеев» (1957), «Ипполит Мышкин» (1959), «Тадеуш Костюшко» (1961).

Леон Исаакович Островер продолжал свою творческую деятельность до последнего дня жизни. Он умер с пером в руке, работая над новым романом, 3 июля 1962 года. Все знавшие Леона Исааковича сохраняют в памяти его облик — обаятельного и веселого, доброжелательного и бескорыстного человека, увлекательного рассказчика, неутомимого труженика.

Книга о Петре Алексееве, выходящая ныне вторым изданием, представляет собой биографическую повесть. Используя канву биографии рабочего-революционера, писатель сообщил ей большую рельефность с помощью многих живописных подробностей. Добиваясь художественной выразительности, автор имеет право на домысел такого рода, не искажающий исторической правды. В книге Островера этот домысел в основном относится к второстепенным частностям. Читая повесть, следует также иметь в виду, что она написана восемь лет назад, когда в исторической науке господствовал не вполне объективный взгляд на народничество. Отражением этих взглядов в книге Л. Островера явилось некоторое преувеличение революционной сознательности рабочих в 1870 году, элементы противопоставления Петра Алексеева его товарищам-народникам. Несмотря на этот недостаток, книга, несомненно, будет прочитана молодым читателем с интересом и пользой.

notes

Примечания

1

С железными скрепами в трех местах и с навесом.